

ГАЛИНА ЗЕЛЕНИНА

ИУДАИКА ДВА

ренессанс в лицах



Москва, 2015

УДК 821.161.1-94+296.67
ББК 84(2Рос=Рус)6-4+86.33
348

Проект осуществлен при поддержке
Brandeis-Genesis Institute for Russian Jewry
и Российского еврейского конгресса



Книга издана при финансовой поддержке
Genesis Philanthropy Group и UJA Federation of NY



Оформление серии Андрея Бондаренко

Издательство благодарит Давида Розенсона,
без которого создание этой серии не было бы возможным

Вклейка. Фотографы:

Николай Бусыгин (с. 1, 2, 4, 7–10, 12, 15, 16)

Илья Иткин (с. 3)

Светлана Шевельчинская (с. 5)

Вадим Бродский (с. 6, 11, 13)

Мария Пироговская (с. 14)

ISBN 978-5-9953-0413-5

© Г. С. Зеленина, 2015
© «Книжники», оформление, 2015
© Центр научных работников и преподавателей иудаики
в вузах «Сэфер», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Цветущая сложность	9
--------------------------	---

В ДВИЖЕНИИ

Виктория Мочалова: «Нельзя прекращать сбивать масло».....	29
Михаил Членов: «Меня всегда привлекала экзотика»	65
Олег Будницкий: «Движение — всё, а там — что получится»	97

В БОРЬБЕ ЗА ДОСТОИНСТВО

Семен Якерсон: «Мне удивительным образом абсолютно все удалось»	135
Марк Куповецкий: «Я как был романтиком, так и остался»	183
Александр Локшин: «Я люблю не статьи писать, а публиковать документы и воспоминания — в них все сказано»	221

В саду философов

Аркадий Ковельман: «Элита должна излучать»	253
Игорь Тантлевский: «Я учился у великих людей»	276
Илья Дворкин: «Все значительное рождается, когда есть много людей»	306
Семен Парижский: «Еврейскому возрождению уже 25 лет, а культурного продукта все нет»...	340

В русле традиции

Михаил Гринберг: «Если я надуваю щеки, то исключительно для пользы дела»	375
Леонид Кацис: «Для меня русское и еврейское сосуществуют в едином потоке»	392
Борух Горин: «Российская еврейская община самая крутая в мире»	419

В поисках утраченного племени

Михаил Крутиков: «Были сотни идишских писателей, о которых сейчас никто не знает»..	463
Валерий Дымшиц: «Ребята, вот же огромная культура, а вы ее проспали»	492
Мария Каспина: «Мне всегда было интересно заглянуть в чужой дом»	526

Илья Дворкин

**«ВСЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РОЖДАЕТСЯ,
КОГДА ЕСТЬ МНОГО ЛЮДЕЙ»**

Илья Саулович Дворкин — сотрудник Центра Чейза Еврейского университета в Иерусалиме, создатель и в 1989–1998 гг. ректор Петербургского еврейского университета (с 1997 г. — Петербургского института иудаики).

«Есть такая неприятность»

Моя семья была совершенно индифферентная к еврейству инженерская семья. Много лет спустя я узнал, что те песенки, которые напевал мой дедушка, были хасидскими *нигунами*, что те сотни пластинок, которые на даче валялись и которые я кидал со второго этажа, были с идишской музыкой. У них была еврейская идентичность, но очень простая. Предки были ремесленниками, большая часть семьи уехала из России в 1907 году, прабабушка только задержалась. В общем, совершенно простецкая семья. Единственное — мой прадед учил Льва Выготского Торе. Он был *меламедом*, преподавал в еврейской светской гимназии города Гомеля, а там вместо Закона Божьего была Тора. Его сын был потом *габаем* синагоги и, конечно, коммунистом, как и все габаи, — они все были под колпаком у властей. Родители — инженеры,

В саду философов

довольно образованные люди, но в таком советском инженерском плане.

Я до определенного времени не представлял себе, что я еврей и что меня это как-то касается. Что-то где-то я слышал и однажды, в возрасте пяти лет, назвал свою бабушку «жидовкой», и она мне объяснила, что я к этому тоже имею отношение. Потом я столкнулся с тем, что не могу поступить на тот факультет, на котором хотел учиться, то есть на физфак питерского университета, по причине своего еврейства, но я не придавал этому никакого значения кроме того, что вот есть такая неприятность. Но я к тому моменту и так не считал Советский Союз справедливой и хорошей страной, так что это было частью всего остального.

«Еретиков у нас своих хватает, так что ты лучше будь евреем»

Я пришел к еврейству исключительно по философским причинам, и, думаю, я не являюсь исключением в этом плане. А может, и являюсь.

Изучая физику и философию, году в 1978-м я пришел к философской религии, к монотеизму и к Библии, а потом из всех авраамических религий выбрал иудаизм. Поначалу я больше исламом интересовался и дружил с православными. Один из моих ближайших друзей был учеником нынешнего патриарха Кирилла в питерской Духовной академии. Я был в этот круг вхож и общался с христианскими теологами и иерархами разного ранга. И вот они объяснили, что мне предпочтительнее оставаться евреем. Хотя сам я этого совершенно

не осознавал. Один мой друг сказал, что, мол, еретиков у нас своих хватает, так что ты лучше будь евреем. То же самое мне заявили и мусульмане. Я много путешествовал по Средней Азии, и у меня до сих пор осталось немало друзей-суфиев. И они мне сказали, что это большой стыд и позор, что я не знаю Тору. Тогда я начал серьезно читать — по-русски, естественно, — Библию. Я счел Новый Завет приключенческой историей — трагической, но не слишком серьезной. Что касается иудаизма, то о нем я вообще никакого понятия не имел. Я начал что-то читать, изучать, и году в 1981-м я сам пришел к иудаизму, сам прошел все операции, которые полагается пройти, и был один абсолютно.

Я начал соблюдать шабат самостоятельно, но соблюдал я его очень странно. Я не знал, что он начинается вечером в пятницу. А саму субботу я просто посвящал изучению иврита и еврейских книжек. В какой-то момент мне показалось интересным познакомиться с другими соблюдающими евреями, и я поехал на велосипеде в синагогу в шабат. Мне объяснили, что так делать не надо. Но вообще там практически никого и ничего не было. Ведь в Ленинграде все было иначе, чем в Москве. В Москве была некая непрерывность, потому что Москва больше. Есть экспоненциальная зависимость от численности общины. В Москве всегда, даже в те годы, когда я начал этим интересоваться, были сотни людей. А в Питере были единицы — около 10 молодых людей, все они пришли к иудаизму с идеей уехать в Израиль. Пришли они своими путями и не составляли единой компании. Почему это произошло? До 1980 года всех выпускали из Питера, равно как и из Москвы. Поэтому

В саду философов

всех мощных отказников, людей, которые занимались еврейскими текстами, уже выставили, никого из них уже не осталось. А в 1981 году ворота закрыли и никого не выпускали. Я сам никогда не подавал заявления о выезде, то есть не был отказником. Но подавляющее большинство молодежи пришло к иудаизму с идеей уехать в Израиль.

Году в 1981-м я попал в синагогу на осенние праздники. Она была заполнена людьми в основном очень пожилого возраста, молодых людей там было крайне мало. И тут ко мне подваливает мужичок лет 60 и говорит: «Молодой человек, а вы знаете, кто такой Рамбам?» Я говорю: «Нет». — «А кто такой Маймонид?» Я говорю: «Да». — «Так вот, Рамбам это и есть Маймонид. А вы хотите его учить?» Я говорю: «Хочу». — «Ну ладно, увидимся». Такой Элиягу га-Нави. Я потом его искал, искал и никак не мог найти. Наконец нашел. Где же, говорю, ваш Рамбам? Он отвечает: «Ну нет, я вас не могу учить Рамбаму, а вот есть какие-то молодые люди, есть такой Гриша Вассерман, с ним занимайтесь». Я подумал, что Гриша Вассерман ходит в синагогу уже бесконечное время, а оказалось, что Гриша Вассерман появился там за полгода до этого. Ну и все остальные примерно так же.

«В физике есть проблемы — философского характера»

Мои первые религиозные откровения были связаны с теоретической физикой, с теорией относительности — с такими вещами.

До 1984 года я очень активно занимался наукой. Лет в 13–14 я понял, что хочу заниматься теоретической физикой. Я читал сначала популярные книжки по теории относительности, потом более серьезные, потом взял Эйнштейна–Инфельда «Эволюцию физики». Они меня совершенно потрясли. И к 15 годам я был уже почти готовым физиком.

Моя гениальность всегда была немножко странная — отчасти гениален, отчасти нет. У меня была неплохая репутация в научных кругах как «подающего надежды». Я участвовал в физических и математических олимпиадах, но никогда не занимал первых мест. А это был единственный способ для еврея без очень сильных связей поступить на физфак. Одна моя подруга совершенно еврейского происхождения училась на физфаке: у нее отец был знаменитым физиком, профессором физфака — ее не могли не взять. А у меня было много друзей на физфаке — не только среди учащихся, но и среди преподавателей, и они пытались меня протащить, но не смогли — и я поступил в Политех.

Началось все с моей школьной учительницы. Я учился в примитивной пролетарской школе в новостройках Питера, но при этом мне страшно повезло с учительницей, она мне подбрасывала книги Гуссерля в седьмом классе, занималась подпольным — от меня самого — моим воспитанием. И когда в девятом классе учительница физики начала излагать законы Ньютона, я стал говорить, что это все неправильно, что надо рассматривать преобразование Лоренца и т. д., а учительница — такая дубовая-дубовая тетка, кондовая ан-

В саду философов

тисемитка и дура набитая. Она не знала, как на это реагировать. И у меня пошли по физике колы. Потом я из этой школы сбежал, но главное, я понял, что в физике есть проблемы — философского характера. Поэтому, поступив в Политех, я стал не физикой заниматься, а философией, и не там, а с книгами.

Я не ушел от физики, я по сей день ею продолжаю заниматься в той степени, в какой это возможно. А я считаю, что это почти невозможно, потому что глубоко убежден в том, что физикой нужно заниматься, когда тебе 20 лет, максимум 25. Эйнштейн до 30 лет сделал все свои великие открытия, а потом всю жизнь пытался что-то создать, но у него ничего не получилось. Я не ушел, но перешел от физики к философии, к философским проблемам, и в 20 лет начал фундаментально изучать философию. Причем физика мне в этом сильно помогла. В Ленинградском университете философию на философском факультете не изучали, а изучали на естественнонаучных факультетах. Стране были нужны физики, а не философы. Там прекраснейшие преподаватели были, совершенно потрясающие. А на философском факультете, может быть, и были неплохие преподаватели, но там учились такие жлобы и дубы студенты, что ничего не было возможно. Я ходил туда на занятия, но ощутил такой мрак кагэбэшный, такую тяжелую атмосферу, что больше не стал туда ходить. А на физическом факультете была, например, моя первая учительница философии Тамара Витальевна Холостова, которой я потом посвятил даже один трактат. Она говорила так: «В современном мире есть

марксисты, но я, к сожалению, к их числу не принадлежу. И среди моих знакомых их очень мало. Я — философ-экзистенциалист». И так далее. Это она говорила перед сотней студентов физфака Ленинградского государственного университета. Я с ней очень подружился, она меня обучала философии Бергсона, классической философии и многому другому.

Таким образом, от физики я перешел к философии, от философии к религии, в религии я придумал себе иудаизм и начал изучать иврит и еврейские тексты.

В моей академической практике была такая тема. Занимаясь физикой, я пытался исследовать физические процессы, в которых время течет по кругу, а не в одну сторону, не линейно, в которых тела могут попасть под влияние самих себя. Замкнутые процессы. И я пытался их описывать с помощью дифференциальных уравнений, запаздывающих переменных. И я пришел к выводу, что в природе бывает не только причинность, которую изучает физика, но и причинность циклическая, рефлексивная. Рефлексивная логика. Меня направили к одному профессору в Ленинграде, и он мне сказал: «Молодой человек, вы изобретаете велосипед. То, что вы делаете, называется кибернетика. Это наука об информационных процессах с обратной связью». И я защищал диплом по рефлексивной логике, по логическим процессам с обратной связью. Это уже, конечно, было основано на философских вещах, но все еще было физико-математической штукой.

«Школы по иудаике выросли
из тартуских школ»

В январе 1978 года один мой друг пригласил меня на тартускую школу по семиотике. И я поехал в Тарту. Это была одна из последних школ по семиотике, которые раньше проходили довольно часто. Мне дико повезло. Я молодой человек, мне 25 лет. А там сидят великие ученые: Лотман, Жолковский — кого там только не было. И они почему-то меня воспринимают как равноправного коллегу, с которым можно разговаривать, спорить, а не как в Политехе воспринимали как какого-то мальчика. Это меня совершенно поразило. Меня еще и пригласили прочитать лекции в Тартуском университете — по теории мифа. И я прочитал несколько лекций в 1979 или 1980 году.

Помимо тяги и любви к науке у меня была унаследованная от отца организационная жилка, и я постоянно, еще со школьного времени, что-то вокруг себя организовывал. И в то время я инициировал некое молодежное сообщество, которое занималось всеми науками. Это были люди достаточно высокого пошиба, мои друзья, которые остались моими друзьями и по сей день, правда, в России их теперь очень мало — кто в Университете Салерно, кто в Швеции, кто в Америке, кто там, кто сям. Постфактум оказалось, что половина моих друзей были евреями, а вторая половина была связана с русской аристократией. Это был очень интересный круг.

Тогда же я стал одним из инициаторов семинара по семиодинамике — динамике знаковых систем — при Союзе молодых ученых в Ленинградском гос-

университете. Этот семинар действовал с 1979 по 1983 год. Им руководил профессор Рэм Георгиевич Баранцев, профессор-математик, который очень увлекался философией. Баранцев — совершенно замечательный человек, который тоже смотрел на студентов как на нормальных людей. Он дал прикрытие этому семинару, и он работал в течение нескольких лет. В 1983 году семинар разогнали с колоссальным шумом, отстранили от работы всех преподавателей университета, которые участвовали в этом семинаре, арестовали сборник трудов семинара.

В рамках этого семинара я разработал теорию, которая называлась арифмология. Я не хочу сказать, что я был единственным автором этой теории. Сам термин «арифмология» еще Флоренский использовал, и вообще это классический термин. Я несколько теорий разработал в рамках своих научных интересов, но именно арифмология всем очень понравилась и стала до чрезвычайности популярна, так что в 1983 году по ней прошла всесоюзная конференция. Это был мой, если угодно, звездный момент. Я там был в определенной степени героем, потому что все-таки я создатель этой арифмологии, хотя ею занималось много народу и занималось очень интересно. И тут, представьте себе, один профессор из города Риги, очень солидный дядечка, говорит мне: «Илья, я ведь знаю, чем вы занимаетесь. Но вы не беспокойтесь, я никому не скажу. Вы занимаетесь каббалой». Я говорю: «Простите, но я не знаю, что это такое, можно где-то про это прочитать?» Он сказал, что про каббалу не может ничего рекомендовать, особенно по-русски, но назвал мне книги по оккультизму.

В саду философов

Я почитал эти книжки, пришел в дикий ужас и решил, что я все-таки занимаюсь не этим.

К 1984 году в моей академической деятельности был пик. Меня пригласила в аспирантуру замечательный историк философии Пиама Павловна Гайденко. Это была уже третья или четвертая аспирантура в моей жизни — невозможно было учиться в аспирантуре, находясь под колпаком КГБ, как я находился. В те годы у меня было определенное имя в узких кругах советских ученых, которые занимались гуманитарно-естественнонаучной деятельностью. Я участвовал в теоретическом классификационном движении, теоретическом биологическом движении, в движении, связанном с философией. Я близко дружил с двумя очень крупными философами: Владимиром Соломоновичем Библером и Георгием Петровичем Щедровицким. Мы друг к другу очень хорошо относились, но я пришел к ним как бы со своей философией, поэтому не считая себя их учеником в полном смысле, хотя, конечно, они мне очень много дали. Познакомился я с ними на школах.

После тартуской школы было еще очень много школ: по теоретической биологии, по теории классификаций — всякие такие школы. Они были построены по одной и той же схеме. Туда приглашали нескольких выдающихся, не очень стандартных, не очень принятых в советском режиме, но абсолютно фантастических ученых — вроде Щедровицкого, Василия Васильевича Налимова. И вокруг них выстраивалась куча молодежи.

Кстати, стилистика отношений, атмосфера этих школ была унаследована школами по иудаике, которые, в общем, выросли из тартуских. Первые

школы по иудаике мы начали делать в 1990 году. «Сэфер» возник уже потом. И люди, которые московские школы по иудаике создавали, это люди того же круга — из тартуско-московской семиотической школы. Круг советской гуманитарной и естественнонаучной интеллигенции.

Еще на тартуской школе я познакомился с Энгелиной Абрамовной Зеликман, совершенно замечательным биологом, планктологом. Она изучала беспозвоночных в северных морях. И вот на школе по теоретической биологии сижу я в ее комнате, и тут появляется некий мальчик, который попал на школу по объявлению в журнале «Химия и жизнь». Мальчика зовут Валера. Он мне быстренько объяснил, что на самом деле его все не Валерой должны были назвать, а Шимоном. «А что такое Шимон?» — спрашиваю. «Как, ты что, не знаешь? Ты же еврей! Шимон — это сын Яакова». Это был Дымшиц*, который был в то время химиком, но также интересовался биологией. Первые вещи про еврейство он мне сказал. Сказал, например: «Мы из хасидов». Я про хасидов знал только, что был такой философ Мартин Бубер, который интересовался хасидами. Мы с Валерой очень подружились. И еще очень многие люди из еврейских кругов были частью этой академической тусовки. Сын Энгелины Абрамовны Зеликман Марк Зеликман был одним из лучших учителей иврита в Москве. И наоборот: юноша, с которым я познакомился по еврейской линии в 1981–1982 годах, Женя Яглом, был сыном выдающегося математика, и я не знал, когда впер-

* Валерий Аронович Дымшиц, см. интервью с ним в этой книге.

В саду философов

вые оказался на их кухне в Москве, на Таганке, с кем мне разговаривать — с ним или с его папой. Скорее, с папой. Такая странная среда была в начале — середине 1980-х. И таким образом формировался некий круг.

Я часто бывал в Москве. В Москве тогда много чего было потрясающего, в чем-то там было значительно интереснее, чем в Питере. И вот читаю лекцию по теории классификации в Московском обществе испытателей природы. После лекции подходит ко мне дядечка и говорит: «А знаете, я тоже Торой занимаюсь». Я говорю: «Простите, но с чего вы взяли, что я занимаюсь Торой?» — «Так это же видно из вашей лекции!» Этот дядечка оказался Жорой Рязановым. Это такой фантастический персонаж, который еще вместе с Ландау работал в группе теоретических физиков в Черноголовке. Он сейчас очень старенький уже, живет в Иерусалиме. Так же я познакомился и с Мишей Кара-Ивановым, одним из создателей «Маханаима»*. Он мне сказал: «Илья, а это не вы читали лекцию в обществе испытателей природы несколько недель назад?» — «Да, а кто вам рассказал?» — «А вот такой-то». То есть там был такой круг московской интеллигенции, физико-математической в основном. Гуманитариев было очень мало, потому что не принимали в университеты.

* Подпольное объединение преподавателей иврита, Торы и еврейской культуры в Москве, состоящее в основном из отказников, сложилось в 1980 г. С 1990-х гг. организация действует как в России, так и в Израиле и занимается религиозным просвещением русскоязычных евреев.

«Ленинградское кладбище — ерунда
по сравнению с еврейскими кладбищами
на Украине!»

С 1983–1984 года я полностью погрузился в изучение еврейской философии, еврейских текстов и вскоре, поскольку я активный человек по природе, начал что-то вокруг себя создавать. Что же я начал создавать? Например, воскресные еврейские школы в Питере. Мои друзья-отказники мне говорили: «Ну это же несерьезно, это же невозможно, вот нас всех скоро отпустят, и тогда все будет хорошо». Я им отвечал: «А вот я не собираюсь никуда уезжать». В 1987 году у меня была воскресная школа, которая действовала в четырех-пяти питерских квартирах. По воскресеньям собирались дети разных возрастов — очень симпатичные, интеллигентские еврейские дети, которые занимались иудаизмом, но хотели его сочетать с дзеном, греческой философией, китайской мудростью и прочим.

А дальше — у меня всегда была мечта об университете. Меня самого в университет не взяли — и вот я хотел сделать свой университет. И начал создавать семинары на квартирах. Это называлось *мильмада*. У меня было две *мильмады* — одна историческая, другая лингвистическая, филологическая. И туда приходила всякая молодежь, которая интересовалась еврейской историей и литературой. На лингвистическую *мильмаду* к нам еженедельно приезжал из Москвы Лева Городецкий, такой боевой учитель иврита, человек интересующийся именно гебраистикой. Среди молодежи, которая интересовалась еврейством, было много академически неслабых людей,

не всегда евреев по происхождению — евреям было трудно получить гуманитарное образование. Некоторые получали образование, а потом решали, что они евреи, проходили через *гиюр* и становились нормальными евреями.

Параллельно существовал более крупный семинар Михаила Бейзера по еврейской истории. Я с Мишей Бейзером знаком с того момента, как стал заниматься еврейством. Он был, скорее, из светской тусовки, но мы все тогда дружили друг с другом — светские, религиозные, не было никакой разницы. Я посещал занятия Миши Бейзера два раза в месяц и параллельно устраивал у себя дома раз в неделю. А когда в 1987–1988 году Мишу Бейзера наконец отпустили и другие тоже стали уезжать, Миша говорит мне: «Илья, поскольку ты единственный человек, который никуда не уезжает, то пусть наш семинар перейдет к тебе». И с тех пор исторический семинар Бейзера по его просьбе перекочевал ко мне домой, и люди, которые еще не уехали, стали собираться у меня.

Я понимал, что я не историк — даже наоборот: история как область мне крайне неблизка, кроме истории в булгаковском смысле, то есть попадания во всякие истории. И я думал, как бы мне найти кого-то, кто будет этим заниматься. Тут я познакомился с замечательным инженером Вениамином Лукиным, который интересовался еврейскими писателями и в связи с еврейскими писателями занимался изучением ленинградского некрополя, где эти писатели похоронены. И я ему говорю: «Веня, это ленинградское кладбище — ерунда по сравнению с еврейскими кладбищами на Украине!» А сам я как раз занимался этими украинскими кладби-

щами начиная с 1985–1986 года. Это моя беда, это одно из несчастий моей жизни, что я не смог устоять и стал ими заниматься! Потратил на какие-то кладбища массу времени вместо того, чтобы заниматься чем-то одним, чем-то философским.

История простая. Один ленинградский человек по имени Саша Окунь, который оказался братом Лукина, перевел на русский язык хасидские истории Эли Визеля. Его перевод ходил в машинописных распечатках, мне они попались в руки в начале 1980-х. Окунь, который больше художник, чем переводчик, решил перевести название как «Огонь и души»*. Меня это все очень увлекло, это очень красиво, интересно. И хотя я и не историк, меня заинтересовало, что это за города, о которых там рассказывается, — Меджибож и прочие — где это? И хотя я не москвич, я тоже сноб. Питерские снобы в некотором роде не уступают московским. Украина для меня была вообще за Полярным кругом. Белоруссия еще туда-сюда — оттуда мои предки происходят, а слово «Украина» для меня вовсе ничего не значило. Я взял атлас мира, нашел Меджибож, хотя был уверен, что он в Польше. Взял велосипед, доехал на поезде до Хмельницкого, там сел на велосипед и приехал в Меджибож. И меня, конечно, невероятно потрясло то, что я там увидел в 1982 году. Там еще были евреи. Там, конечно, все было совсем иначе.

В этой затее, как вы верно говорите, есть преемственность с физико-математическим туризмом, но не совсем. Я всегда довольно презрительно относился к туризму. Дымшиц как-то решил

* В 2000 г. эта книга в переводе А. Окуня вышла в издательстве «Гешарим» под названием «Рассыпанные искры».

надо мной поиздеваться — человек он ироничный — и сказал: «Илья Дворкин — опытный турист». Сильнее меня оскорбить было трудно. Дело в том, что я не турист, а путешественник, прошу прощения. В первый раз, когда я убежал из дома лет в 10–11, я отправился в путешествие. Я объездил на велосипеде, на товарняках, на крышах поездов весь Советский Союз. У нас была очень рафинированная компания, состоявшая в основном из гуманитариев. Мы путешествовали по горам, по Средней Азии, однажды ездили из Ленинграда в Калининград на велосипедах. Это было близко к туризму, но другое. А мои очень близкие друзья году в 1979-м отправились на лыжах через Ладожское озеро, и я собирался к ним присоединиться, потому что это была очень хорошая авантюра — пересечь на лыжах Ладожское озеро. Но я сломал руку и с ними не поехал, а они все там погибли, их искали с вертолета, но не смогли спасти. Есть туристы, которые любят экстремальный туризм. А я никогда не любил специально лезть в такое. Я во всякие переделки попадаю без того, чтобы специально в них лезть. Я близко знаком с физмат-туризмом, мои близкие друзья, профессора Ленинградского университета, ездили каждый год на лыжах и на байдарках — все это мне хорошо известно. И наши поездки, конечно, выросли из чего-то подобного, но не из туризма все-таки, а из путешествий.

Уже побывав в Меджибоже, и Умани, и Черновцах, и Бердичеве, и там и сям, поездив уже по Украине основательно, я осознал, какие сокровища там скрываются. Я совершенно не хотел этим заниматься, но я не мог этим не заниматься. Я про-

сто оказался схвачен этой темой. И тогда, с 1986–1987 года, я начал организовывать экспедиции.

Отказникам давали много денег. Я отказником никогда не был, но они говорили американцам, что я тоже отказник. В общем, отказники меня снабжали деньгами. Мне деньги не нужны были абсолютно, потому что, слава богу, мои родители неплохо зарабатывали и я ни в чем не нуждался, и я эти деньги тратил на экспедиции по местечкам. В 1988 году я повез туда Веню Лукина. А 1988 год — это уже не 1985-й. Это уже перестройка, уже можно было получить документы, например, от общества «Культурное наследие», что мы едем в экспедицию по изучению памятников еврейской истории. Еще у меня был такой друг Иегуда Горенштейн, замечательный фотограф и оператор. И мы начали ездить по Украине, потом Белоруссии, Средней Азии, Кавказу — в общем, по всей территории, куда можно было добраться. И стали думать, как же заниматься этим серьезно, кого к этому привлечь. Во всем Советском Союзе нету ни одного специалиста по иудаике. Были замечательные люди типа Мики Членова, я их всех знал, но они не занимались иудаикой. Кто занимался иудаикой? Никто не занимался иудаикой. Даже термина такого не было. Сам термин «иудаика» придумали мы с Куповецким и Членовым на московском семинаре году в 1987-м, задавшись вопросом, как это называть. Решили — «иудаика». Поскольку гебраистика и библеистика — это нечто другое, то лучше взять новый термин. В создававшейся тогда Краткой еврейской энциклопедии выбрали термин «наука о еврействе». Но поскольку они писали энциклопедию, которая никому не

была известна, а мы создавали разные научные центры, то наш термин прижился, а их — нет.

Один мой приятель в 1988 году открыл в Ленинграде репетиторскую фирму. Репетиторские фирмы были еще в советское время. Это были компании друзей, которые зарабатывали на жизнь подготовкой к поступлению в вузы. Понятно, что отказники, которых выгоняли с работы и которым надо было как-то жить, создавали такие фирмы. Поэтому то, что сейчас называется «Маханаим», изначально было такой фирмой. Полонский, Дашевский и вся эта компания занимались репетиторством по физике и математике, а потом уже перешли от преподавания математики к преподаванию иврита и Торы. В Ленинграде тоже были такие репетиторские фирмы, а тут перестройка, и фирмы можно уже по-настоящему создавать. И вот мой друг по имени Юра Руппо, человек очень благородный и замечательный, говорит: «Илья, а вы не можете придумать такой проект, который имел бы коммерческий смысл и в то же время был бы мне интересен? Что-нибудь связанное с еврейством?» Я говорю: «Юра, мы тут ездим на Украину, смотрим еврейские местечки, а давайте организуем еврейский туризм — то есть повезем смотреть еврейские местечки Украины и Белоруссии народ со всего мира». Он загорелся и решил все это дело финансировать. И в 1988 году был такой торжественный момент: мы Веню Лукина взяли на работу в качестве исследователя в области еврейской истории — в эту фирму, которую я назвал «Центр изучения и презентации восточноевропейского еврейства». Я был ее руководителем, он — единственным сотрудником.

В 1989 году я решил привлечь к очередной экспедиции на Украину молодежь, студентов. Бросил клич в ленинградском Политехе и в других местах. И собралось человек 20. У нас был автобус, он назывался Автомузей, и вот на этом Автомузее мы разъезжали по местечкам. Автомузей принадлежал меджибожскому замку-музею, с которым у нас были очень близкие отношения. И я решил, что днем мы работаем на кладбище, а вечером что делать? А вечером нужно изучать еврейские тексты. И так мы прожили месяца два. А потом наступила осень, 1 сентября, и мы вернулись в Ленинград. И все говорят: «Что же, мы теперь бросим, не будем ничего изучать?» Я говорю: «Нет, надо продолжать».

Мы пришли к выводу: нужно учиться. Как мы будем читать мацевы, как мы будем интервью брать, если мы не знаем идиша, не знаем иврита? Нужно учиться. И это было одним из моторов создания сначала курсов, потом Еврейского университета. А сам Лукин, поскольку он интересовался историей евреев Ленинграда, сразу же сказал: «Был же уже Еврейский университет в Петрограде». Поэтому мы решили, что мы его возрождаем, а экспедиции — продолжение этнографических экспедиций Семена Ан-ского.

«Я не создавал еврейский университет — он сам возник»

А тут началось мощное движение по возрождению еврейской жизни. Создалось Ленинградское общество еврейской культуры. Я не был там централь-

ным лицом, конечно, но был среди людей, которые это организовывали. И тут я вам скажу, кто является автором идеи еврейских университетов. Странным образом ее автором был некий директор Дома культуры имени Кирова по фамилии Радзевич. Этому директору органы, видимо, сказали: «Ну пусть все эти странные неформалы будут под твоей крышей». И у него в одной комнате заседало общество «Память», в другой — еще какие-то националисты, по соседству татары, ну и евреям тоже выделили комнатку. Они, видимо, думали в 1989 году, что все это можно держать под контролем.

А за год до того ко мне приходит один деятель еврейского движения, Саша Добрусин, и говорит: «Илья, а ты можешь прочесть лекцию по еврейской культуре?» Я говорю: «Могу. Могу прочесть даже цикл лекций по истории еврейской литературы». Через неделю он приходит ко мне, приносит афишу и программу. Оказывается, лекции будут в Доме культуры им. Карла Маркса. Прихожу я в Дом культуры им. Карла Маркса читать первую лекцию про библейскую литературу, и мои глаза вылезают на лоб, потому что сидит там примерно 300 человек. Прочитал я им несколько лекций, а в 1989 году уже захотел в Доме культуры им. Кирова открывать курсы по еврейской культуре. И товарищ Радзевич говорит мне: «Илья, но это же называется народный университет. Давайте вы откроете еврейский народный университет. Будет вечерний университет, а вы будете ректором». И дальше меня записали ректором этого еврейского народного университета. Честно говоря, я даже его не создавал — он сам возник — осенью 1989 года. Просто так получилось.

Вначале это были курсы иудаики. Там были студенты, был учебный секретарь, время от времени из-за границы приезжали какие-то преподаватели, были регулярные занятия по вечерам, два-три раза в неделю. Было очень интересно. Мы так прозанимались весь 1989 год, а летом опять уехали в экспедиции.

А в 1990 году мы получили 450 заявок, был конкурс, пришлось приемную комиссию создавать. Все хотели изучать иудаику, хотя никто не знал, что это такое. Мы повесили большой плакат: «Иудаика — это междисциплинарная наука, объединяющая исторический, филологический и философский аспекты изучения еврейской цивилизации». И все хотели у нас преподавать.

«Профессора читали лекции на сцене,
как в 1920-х годах»

К нам пришли лучшие профессора Питера. Одни говорили: «Мы учились у евреев, мы хотим преподавать в еврейском университете». Другие по каким-то еще причинам. Это были не те люди, которые просто хотели подзаработать. Хотя время было очень тяжелое, а мы платили, у нас были деньги. С 1989 года Юра Руппо содержал университет. В 1990 году мне сказал «Джойнт»: «Илья, почему вы не просите у нас денег?» И у нас стало полно денег, мы платили нормальную зарплату. Кроме того, мы бесплатно получили прекрасное здание — друзья из Политеха предложили нам для занятий театр Политехнического института. Профессора читали лекции на сцене. Это было как в 1920-х годах.

В саду философов

Среди преподавателей была Наталья Васильевна Юхнёва, замечательный антрополог и этнограф. Потом появился Исидор Геймович Левин — совершенно фантастическая личность. Я думаю, ему сейчас лет 100* — он жив и до сих пор преподаёт в Германии. Он был единственным из наших преподавателей профессионалом в области иудаики мирового уровня. Он кончал Дерптский университет, был учеником Лазаря Гульковича, профессора иудаики в Лейпциге и Дерпте. Исидор Геймович писал на разных языках, и его книги выходили в разных странах, он был классиком в области фольклористики, одним из создателей финской школы фольклористики. И он заявил: «Я должен вам сказать, что, хотя мои работы в основном посвящены фольклору, моя профессия — это именно еврейские исследования. Я не люблю называть это Jewish studies, потому что это американизм, я называю это Wissenschaft des Judentums». И я его первого привлек к преподаванию в питерском еврейском университете. И он, в частности, читал курс «Народоведение евреев Европы». Он говорил: «Фольклор — это же термин неправильный. Антропология это еще хуже — это американизм». И приносил тома этой немецкой иудаики, этого «народоведения», и они были полны идей, которые после войны во Франции отрабатывались школой «Анналов», все это в Германии было в начале XX века и совершенно не хуже, а лучше. Но все это исчезло. Все это было написано по-немецки, этот язык сейчас никто не знает, все погребено куда-то — неизвестно куда. А что такое наша

* И. Г. Левин родился в Даугавпилсе в 1919 г.

иудаика по сравнению с немецкой иудаикой, с виссеншафтом, простите, пожалуйста? Это же вообще ничто, просто нуль.

Еще Исидор Геймович читал курс под названием «История формирования архетипов европейского еврейства», но, к сожалению, этот курс полностью провалился. Сначала туда пришло человек 100. Исидор Геймович, человек максимально ироничный, спрашивает у аудитории: «Скажите мне, пожалуйста, дорогие господа, какая первая книга Библии?» Все кричат: «Бытие, *Берешит*...» «А, — говорит, — так вы ничего не знаете, придется начать все сначала». И дальше в течение двух месяцев пытается им объяснить, что первой является книга Амоса и что вообще все, что говорят, все это неправильно. Народ постепенно стал перетекать с его курса на параллельный. А я параллельно курсу Левина — для интеллектуалов — сделал курс для начинающих талантливого хабадника Михаила Корица, он назывался «Что такое *Мишна*?» И вот, представьте себе, что вся аудитория перетекает от великого ученого Левина к Корицу. На следующий год Левин мне говорит: «Нет, я не могу у вас преподавать, ведь вы собираетесь изучать Библию с книги *Берешит*, но это же несерьезно!» Я говорю: «Исидор Геймович, давайте вы будете преподавать с книги Амоса, а мы — с книги *Берешит*, пожалуйста». Я думаю, я единственный человек, который умудрился с ним совладать. Потому что он всех разносил в пух и прах. С каждым человеком Левин говорил на каком-нибудь экзотическом языке. Со мной он говорил исключительно на иврите. Мику Членова он экзаменовал, когда они познакомились: начал с ним говорить

В саду философов

по-персидски, Мика что-то ему ответил, потом на идише, на том, на этом. Когда Мика заговорил на каком-то языке Индонезии, тот успокоился, потому что его не знал. Но он действительно знает порядка 50 языков.

Потом к нам пришел профессор Зайцев, виднейший питерский античник, Герценберг, замечательный индоевропеист. Сложилась иная ситуация, чем в Москве. Если в ЕУМ, Еврейский университет в Москве, пришли сравнительно молодые люди, уже известные в определенные кругах, но молодые ученые — Ковельман, Милитарев, Фролов и другие, то в Питере к нам пришла именно старая профессура. Академик Дьяконов у нас сам не преподавал — он был уже старенький, он к нам прислал своих учеников, а сам частным образом занимался с лучшими студентами. Конечно, мы были недостойны этой замечательной профессуры. Вся питерская интеллигентская публика, которая хоть какое-то отношение имела к еврейской теме, вся она начиная с 1990 года была с нами. И эти годы — 1990-й, 1991-й, 1992-й — это был взлет.

«Возникло бы что-то в Москве,
если бы не было ПЕУ, сказать невозможно»

Еще в 1980-х я подружился с Микой Членовым, Куповецким, Крупником — московской публикой. В 1988 году в Москве открылась ешива Штейнзальца. Она открылась в качестве Академии мировых цивилизаций. Как она открылась — это отдельная, очень интересная история. Штейнзальц сказал Велихову, который был вице-президентом Академии

наук и правой рукой Горбачева в те годы, что, мол, в Советском Союзе неплохо развиты математика, физика, даже в гуманитарных науках есть какие-то успехи, а вот одна из главнейших мировых наук — Jewish studies — отсутствует полностью! Велихов спросил: «А что это такое?» Штейнзальц говорит: «Ну как же вы не знаете! Во всех университетах мира — в Гарварде, в Оксфорде — есть центры еврейских исследований. А в Советском Союзе нет ни одного центра еврейских исследований!» Велихов сказал: «Ну, надо подумать...» Штейнзальц предложил: «А давайте создадим Академию мировых цивилизаций. Там будет факультет по изучению еврейской цивилизации, факультет христианской цивилизации, исламской, буддистской...» «Какая замечательная идея!» — сказал Велихов и дал полный карт-бланш Штейнзальцу. И в 1988 году открывается Академия мировых цивилизаций с единственным факультетом — факультетом исследования еврейской цивилизации; ни исламскую, ни христианскую, ни буддистскую никто исследовать не стал.

А как я туда попал? В это время в Питере оказался Яков Рабкин, человек скандально известный, — один из классиков североамериканского антисиионизма. Но в то время он таковым еще не был. Он был нормальным профессором, занимавшимся историей науки — в прошлом в Ленинграде, потом — в Монреальском университете. Приехал он в Ленинград и болтался в кругу отказников, которые там еще оставались. И Рабкин меня пригласил поступать в Академию мировых цивилизаций, сообщив по секрету, что это будет ешива, где будут изучать Тору и где будут преподавать лучшие

раввины и профессора мира. Я сначала отнекивался, но потом все-таки поступил в эту ешиву и ездил каждую неделю в Москву на три-четыре дня, а потом возвращался в Ленинград, где у меня были школы, кружки, семинары и все такое. Руководить этой ешивой в какой-то момент приехал Шауль Штампфер, который сочетал в себе профессорскую и раввинскую ипостаси. Идея была создать академическую ешиву с величайшим уровнем преподавания Торы и науки. Идея, конечно, с треском провалилась, но было очень интересно.

А когда году в 1991-м эту ешиву начали вытеснять, потому что она — вне всякого сомнения — являлась самой безумной ешивой мира, Шауль Штампфер говорит: «А давайте мы в Москве тоже создадим университет!» И создали — по модели Петербургского еврейского университета. Наш изначально назывался «Ленинградский еврейский вечерний университет», потом «Открытый университет», потому что мы слышали, что в Израиле есть Открытый университет, а потом мы его назвали просто «Петербургский еврейский университет», ПЕУ. А они назвали Еврейским университетом в Москве по аналогии с Еврейским университетом в Иерусалиме. Университет создал Штампфер, первым ректором стал Куповецкий, потом — Гринберг и, наконец, Милитарев. Все это происходило на моих глазах.

В 1992 году все подсустились в Москве. Я этот процесс наблюдал со стороны, было очень смешно. За несколько месяцев сразу несколько иностранных структур, в том числе Туро-колледж и Jewish Theological Seminary, захотели организовать в Москве свои филиалы. В результате в Москве по-

явилось сразу пять еврейских учебных заведений, отношения между ними, конечно же, были так себе. А в Питере оставался только один наш университет. Была попытка у «Лишкат га-кешер», израильского Бюро по связям с евреями СССР, которое очень не любило нас — меня лично и всех независимых людей, организовать альтернативный нам университет (с объявлениями типа: «Впервые в Ленинграде создается Еврейский университет!»), но мы его уничтожили. У меня были хорошие связи в Израиле, и мне удалось это дело заблокировать через израильский МИД. А в Москве сразу же возникло несколько конкурирующих структур — потому что Москва активнее, в Москве больше народу, в Москве больше ресурсов.

Но Москва к этой идее пришла не сама. В Москве эта идея возникла, когда наш университет в Питере существовал уже три года, с 1989-го по 1992-й, и имел совершенно фантастический рейтинг. Например, когда в 1992 году мы с Дмитрием Эльяшевичем поехали путешествовать по Германии, с нами встречались на уровне министров. Еврейский университет — в России, в Советском Союзе! Они к нам вполне серьезно относились. Конечно, это был такой самодеятельный университет, скорее, не университет, а курсы, но все же это был крупный проект. У нас было три факультета, два института — институт исследований еврейской диаспоры, который организовывал все экспедиции, и институт проблем еврейского образования, который поставил себе целью создать сеть еврейского образования на территории бывшего Советского Союза. Еще был бейт мидраш — попытка воссоздать академическую ешиву, тоже очень успешный

был проект. (В ЕУМе, например, не считали, что надо изучать еврейские тексты, а мы считали, что никакая иудаика без еврейских текстов невозможна в принципе; мы придерживались той точки зрения, что человек, который не умеет читать любой еврейский текст, не специалист по иудаике.) Каждый год мы устраивали три-четыре международные конференции на разные темы. Бар-Илан ежегодно присылал нам лучших профессоров на месяц. Один Петербургский еврейский университет в 1992 году по масштабам своей деятельности был не меньше, чем вся иудаика, которая есть сейчас в России. И то, что в Москве все это тоже возникло, это, конечно, естественно, но гарантировать, что это возникло бы, если бы не было ПЕУ, невозможно. Может быть, было бы, а может быть, и нет.

Еще, конечно, первые годы перестройки с ее авантюризмом сыграли определенную роль. Не возникни эта иудаика с 1989 по 1994 год, вообще не факт, что она возникла бы потом.

Мы проводили совершенно колоссальную работу, с тем чтобы стать частью государственного образования, но сохранить независимость. Например, я встречался с ректором Ленинградского университета и с другими. Но в их умах это с трудом укладывалось. А потом, в конце 1990-х, уже Зеэв Элькин сумел внедрить иудаику в государственные университеты. И хотя ослабление независимой иудаики — это очень плохо, но я считаю это единственным выходом. Мне ужасно жалко ПЕУ и ужасно жалко ЕУМ, но такова история образования в Советском Союзе: без внедрения в государственные образовательные структуры что-то серьезное создать трудно.

«Никакой еврейской науки у нас
в России не получается»

Мною двигала одна-единственная вещь. Я в этом университете не зарабатывал никаких особых денег. Я получал зарплату, как и все, достаточно небольшую. Но мой отец хорошо зарабатывал, и у меня не было никаких материальных проблем в те годы. Не было у меня и огромных амбиций. Важно было ощущение, что ты находишься где-то наверху: я близко общался со Шломо Карлебахом, со Штейнзальцем, с равом Мордехаем Бройером. Главный мотор, который мной двигал, это утопия, которая, видимо, двигала двести лет назад людьми, создававшими *Wissenschaft des Judentums*, — утопия еврейской науки. И году в 1994-м я начал понимать, что никакой еврейской науки у нас в России не получается.

Что такое еврейская наука вне России, я знал довольно отрывочно, хотя к нам каждый год приезжала куча всяких профессоров — преподавать и работать в питерских архивах, которые всех очень интересовали. И я решил понять, как это устроено за границей, и в 1995 году на полгода уехал в Гарвард, меня пригласил Исидор Тверский — писать диссертацию по Маймониду. Это был один из самых счастливых периодов моей жизни. И там я понял, что никакого виссеншафта у нас в России не выходит и уж по крайней мере я не тот человек, который должен этим заниматься. Не то чтобы я совсем отчаялся и решил, что в России все плохо, — нет, но я понял, что мой проект в России не пройдет. Архивы, этнография — это все, наверно, получалось. Но я ведь философ. Наука делается в

достаточно узких академических сообществах, а эти академические сообщества из России испарялись. Они были в России в начале XX века, уже в 1970–1980-х годах на тартуских школах было видно, как все это куда-то девается. Проведя некоторое время в Принстоне, в Институте высших исследований, который создали для Эйнштейна, я очень хорошо понял, что эти академические сообщества — там. Я это говорю не как приговор России, нет. Сейчас я уже иначе на это смотрю, потому что понимаю, что и там тоже их нет, а с другой стороны, сейчас, в эпоху интернета, они могут быть где угодно. Но тогда, в 1995 году, я осознал внутренне, интуитивно — так же, как в 1989 году я осознал, что надо делать академический еврейский центр, — что то, что я хочу, здесь не получится.

Формально, внешне был абсолютный успех, да и не только внешне. Например, в 1998 году мы вместе с Американским еврейским комитетом, Ассоциацией еврейских общин Европы, Институтом Мендельсона организовали в Петербурге международный конгресс под названием «Евреи Советского Союза: прошлое, настоящее и будущее», на который съехалась публика со всего мира. Он проходил в гостинице «Астория». И так далее, и так далее. В 1998 году все еще было очень интересно. Но мне хотелось чего-то большего.

Эйнштейн пишет, что наукой занимаются три категории людей: те, кто хочет получить высокий социальный статус, те, кто хочет самореализоваться, и те, кому наука просто интересна. Все три категории для науки совершенно необходимы, но в конечном счете наука создается только третьей категорией. Может быть, это нескромно,

но я принадлежу именно к третьей категории: мне *просто интересно*. И занимаясь тем, что мне интересно, я почувствовал, что путь, которым я иду в Петербурге, неправильный, он меня не туда ведет, я должен уйти.

И в 1995 году я решил уезжать. У меня был выбор между Израилем и Америкой, и я очень доволен тем, что выбрал Израиль, а не Америку, хотя в Америке, конечно, моя судьба могла сложиться совсем иначе. Но я не вижу почти ни одного полностью успешного примера. В Америке нельзя быть таким раздолбаем, какими мы здесь являемся.

А в России в 1998 году ситуация сильно изменилась, между еврейскими вузами возникла напряженность. К нам все хорошо относились, благо мы были далеко, в Питере. Но у ПЕУ появились серьезные финансовые проблемы. В целом инициатива перешла в Москву. Я же решил уезжать и думал только о том, чтобы оставить после себя жизнеспособную структуру. Эльяшевич оказался совершенно блистательным администратором. Уже после моего отъезда они получили аккредитацию на Петербургский институт иудаики — мы создали такую структуру в рамках ПЕУ, потому что нам сказали, что на негосударственный университет аккредитации нам не дадут никогда. И, уже получив аккредитацию на ПИИ, Эльяшевич аннулировал ПЕУ. Таким образом, ПИИ — это прямой наследник, правопреемник ПЕУ. В 2000 году в Петербургском госуниверситете был открыт Центр библеистики и иудаики под руководством Тантлевского. На основе этого центра впоследствии была создана кафедра еврейской культуры. В Европейском университете возник центр «Пе-

тербургская иудаика». В итоге в Петербурге, как и в Москве, стало несколько еврейских академических структур, и я считаю, что это совершенно естественная ситуация. Можно, конечно, предположить, что если бы связь между академическими программами по иудаике была большей, то иудаика была бы сильнее и эффективнее, но и в раздробленности есть свои преимущества. Каждая структура занимает свою нишу.

«Слабая штука это российское еврейство»

Весь этот процесс раздробления, на мой взгляд, связан со слабостью российского еврейства.

Российское еврейство, как и советское еврейство, это очень слабое сообщество. У него нет своих мозгов — у людей есть мозги, а общих мозгов, которые умеют между собой общаться, нет. Я, между прочим, очень хорошо отношусь к Хабаду и очень много от него выучил. Я, представьте себе, дважды был у Любавичского ребе. Но ситуация, в которой Хабад естественным образом возглавил российское еврейство, мне представляется крайне нездоровой. И все-таки слава богу, что это произошло. Потому что, в отличие от российского еврейства, у Хабада есть общие мозги, и он способен это еврейство объединить.

Вот я в 1993 году приехал в Москву, в ЕУМ, который создавался у меня же на глазах, и говорю им: «Давайте объединим усилия. Мы — в Питере, вы — в Москве, давайте объединим усилия». Но из этого ничего не получилось. А я-то прекрасно понимал, что если мы усилия не объединим, то все, хана. И

поэтому все попытки создавать что-то большое всегда разваливались. И слава богу, что есть «Сэфер», слава богу, что есть кафедра Ковельмана и Project Judaica, Академия Маймонида, кафедра Тантлевского, ПИИ, Петербургская иудаика. Каждый из этих проектов занимает свое место, это сравнительно маленькие, но сильные структуры, каждая — вокруг одного человека. В таком виде это может жить, но в таком виде это вряд ли может породить что-то значительное. Потому что все значительное рождается, когда есть много людей.

Я не хочу сказать, что я сдался и совсем отказался в этом участвовать. Позже, уже когда я учился в Иерусалиме, ко мне пришел Элькин и попросил возглавить еврейскую педагогическую программу в МГУ. Так я стал заниматься педпрограммой. Сейчас мы делаем в Питере каникулярные школы для школьников. Мы устраиваем летние экспедиции — «Самбатион». То есть юмор состоит в том, что я опять оказался вовлечен в еврейское образование в России, но я уже никогда не рассматривал это как воплощение своих идеалов, как дело своей жизни, а просто как работу — нужно же где-то работать. Поскольку я считаю себя последователем Рамбама и Спинозы, то придерживаюсь запрета Рамбама зарабатывать деньги на философии и на Торе. Рамбам, как известно, занимался медицинской практикой, Спиноза точил линзы. Так что я рассматриваю педагогическую свою деятельность как интересную профессиональную деятельность, не более того. Это уже не мое, я человек другой реальности. А может, и нет.

Впрочем, создавать школы, устраивать «Самбатион» очень интересно и приятно. В рамках «Сам-

В саду философов

батиона» появилось множество ярких и талантливых молодых людей. Но как-то так получается, что они не могут найти себе настоящего применения.

В целом диагноз у меня простой. Российское еврейство — это просто очень слабая штука. У него очень глубокие корни, но тяжелая судьба. Его много раз разгромили, поубивали, разбросали по всему миру, и теперь это очень слабая штука, которая не может договориться между собой, не умеет объединять усилия, не умеет ценить какие-то вещи.

За последние годы ситуация существенно изменилась. В академической иудаике работает много эффективных проектов и организаций. Почти каждый день происходит какое-то существенное событие в Москве, в Петербурге, в других городах. Но, на мой взгляд, настоящее изменение может произойти только тогда, когда новое поколение — тех, кто вырос в этой системе, кто знает и любит иудаику, для кого она составляет жизнь, — возьмет дело в свои руки. Думаю, что условия для этого уже давно созрели, но произойдет ли это и когда, не знаю.

Это интервью — единственное, что я сказал публично за последние 15 лет об области, которой отдал полжизни. Сказал обрывочно, непоследовательно. И очень много важного совсем не сказал!

СЕМЕН ПАРИЖСКИЙ

«ЕВРЕЙСКОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ
УЖЕ 25 ЛЕТ, А КУЛЬТУРНОГО
ПРОДУКТА ВСЕ НЕТ»

Семен Георгиевич Парижский — кандидат филологических наук, исследователь средневековой еврейской литературы, доцент Петербургского института цудаики, программный директор проекта «Эшколот».

«Ходили люди с кастрюлями
и изучали Талмуд»

Есть как минимум три версии, откуда взялась наша фамилия. Две из них «местечковые». На родину моих предков могут претендовать два белорусских местечка: Паричи и Парыж. Питерские евреи довольно сильно связаны с Белоруссией. Очевидно, что это либо Парический, либо Парыжский, превратившиеся в Парижского для благозвучия. Но самая красивая версия увязывает фамилию собственно с Парижем. Наполеоновские войны, 1813 год, и какой-то мой прапрадед, интендант, с обозом русской армии доходит до Парижа. Потом возвращается в свое украинское местечко, и ему дают прозвище Парижский, поскольку он побывал в Париже. А потом, когда евреев надели фамилиями, его прозвище стало фамилией. Эта версия, конечно, никак не задокументирована-

В саду философов

на, просто устное предание, и никакой исторической критики не выдерживает, но мне все-таки хочется в нее верить.

Семья у меня была полностью ассимилированной. В детстве я про еврейство почти ничего не знал. Только весной на Песах (я не знал, что такое Песах) вдруг появлялась маца — каким-то мистическим образом. Для меня это был сезонный продукт типа питерской корюшки.

У меня есть два старших брата. Мой самый старший брат, который на 10 лет старше меня, в конце 1970-х увлекся диссидентством, стал приносить домой запрещенную литературу. В этих кругах он столкнулся с сионистами, деятелями еврейского подполья, которые изучали иврит и печатали самиздат. Он тоже этим увлекся, но первичным для него было политическое диссидентство, а еврейский сюжет, скорее, второстепенным.

Где-то в середине 1980-х я начал к нему приставать на тему евреев: «Расскажи, что ты за книжки приносишь? Дай почитать». А он говорил: «Семка, тебе не надо это трогать, потому что если ты начнешь читать, то ты провалишься». Ему казалось, что иудаизм — это такая вещь, которая предъявляет к человеку тотальные требования, вещь, в которую нужно целиком окунаться. Есть соблазн полного ухода туда, при котором личность потеряется. Он считал, что для неокрепших подростковых умов это очень опасная притягательная сила. Но как только он уехал — эмигрировал, я тут же начал читать все его книжки и ужасно всем этим заинтересовался. Я начал сам, на якерсоновский манер*,

* См. интервью с С. М. Якерсоном в этой книге.

учить иврит — пошел в Публичную библиотеку, взял грамматику библейского иврита XIX века и начал по ней изучать язык, писать квадратным ассирийским шрифтом.

Но потом я решил, что надо когда-нибудь из библиотеки выйти и с живыми настоящими евреями познакомиться. Пошел я, естественно, в синагогу и, естественно, в шабат — когда еще там евреев можно найти? А я был такой хиппан с длинными волосами, с рюкзаком. Пришел в таком виде в малую синагогу, где хабадники сидят. Они так на меня посмотрели. Я был тронут, что они меня не выгнали, не стали упрекать, а дали мне кипу и посадили на скамейку. Они там занимались изучением Талмуда. И меня потрясло, что они тут же и меня начали вовлекать, предлагали задавать вопросы и как-то ласково подключили к разбору *сугши**. Меня очень привлекло, что главное, чем занимаются евреи, как я понял в синагоге, — это чтение книжек, обсуждение, разбор текста. Учеба. И я начал думать.

Я все-таки немного побаивался сразу идти в синагогу, стал спрашивать и обнаружил, что в Питере как раз открылся Еврейский университет. Шел 1991–1992 год, и там был первый или второй набор. И я пошел на экзамены. А там сидят люди с Талмудом, читают его с трудом, но вполне себе увлеченно. И говорят: «Подожди ты со своими экзаменами, посиди с нами, попей чаю, поизучай Талмуд». Мне это опять понравилось. И вот я попал в Еврейский университет, который тогда состоял из двух частей — там был университет как

* Дискуссия талмудических мудрецов на какую-либо тему.

В саду философов

учебное заведение, где читались лекции, — в каком-то ДК, и был бейт мидраш, куда каждый год приезжали разные американские раввины и где тусовались всякие странные люди, которые совмещали образ ешиботника и студента университета. Там была такая домашняя обстановка: варили суп, ходили люди с кастрюлями и изучали Талмуд. Это было такое сообщество молодых интеллектуалов, которые пытались выработать особый подход к изучению еврейской культуры, который был бы одновременно академическим и практическим, внутренним, то есть сам по себе был бы некоторой формой еврейской культуры, еврейской жизни. Нашлось довольно много людей, для которых были близки поиски такого интеллектуального иудаизма с сильной научной стороной и фактическим социальным аспектом.

Параллельно я учился на философском факультете ЛГУ, плюс я еще в этот же момент женился, у меня была маленькая дочка, и я зарабатывал деньги преподаванием английского. Столько у меня тогда было сил и энергии. Ходил в кожаном пальто, которое досталось мне от старшего брата, с рюкзаком, набитым Талмудами. Было такое веселое и безумное время.

«У меня были полные голенища книг»

С антисемитизмом в моей жизни все было довольно soft. В школе меня пару раз пытались обозвать — я давал в нос. Причем они в эти слова — «жид», «жидиться» — не вкладывали какого-то специального смысла. А я как раз вкладывал.

И они не очень понимали, почему я вдруг начал их бить.

А когда я оканчивал школу, моя учительница литературы и классная руководительница, которая сама была еврейкой, вызвала меня вдруг на беседу и спрашивает: «А куда ты хочешь поступать?» Я говорю, что в университет хочу, на психфак. Она говорит: «Ты уверен?» Она не могла мне прямо об этом сказать, но всякими намеками давала понять, что с моей фамилией будет довольно трудно поступить в университет. И лучше бы мне не тратить свое время, а подумать про какой-нибудь институт авиационного приборостроения.

Но я упрямо пошел поступать на психфак и не поступил. Но я не утверждаю, что дело в фамилии, — туда был довольно большой конкурс и так.

И я отправился в армию на два года. В армии тоже был очень смешной еврейский сюжет. Я служил в стройбате в Казахстане. История была такая, что два моих старших брата косили от армии и закосили успешно. Старший — по дурке, средний по какому-то желудочному заболеванию. И наш военком был просто в гневе, он знал уже этих Парижских и поклялся, что третьего Парижского он точно загребет в армию. И меня было никак не отмазать. Меня забрали и в отместку за двух старших братьев записали в стрелковую часть, которая отправлялась в Афганистан. Моя мама как-то про это узнала и начала суетиться, достала справки, что я страшно болен, практически при смерти. И ей удалось — меня признали годным к нестроевой службе и отправили в стройбат в казахскую степь. Мы там строили гигантскую радиолокационную станцию.

В саду философов

У нас было 83% узбеков, 10% таджиков, еще сколько-то азербайджанцев и армян. Из русских был я и Леня Гуральник, тоже петербуржец. Мы были единственными людьми, которые умели читать и писать по-русски. Потому что если мы с Леней туда попали по здоровью, то все остальные обитатели аулов попали туда из-за того, что не могли писать, читать и говорить по-русски. И мы не то что не страдали от антисемитизма — наоборот, мы оказались такой элитой и поделили два золотых места. Леня стал секретарем в штабе при каком-то полковнике, все свое время в армии благополучно провел в тепличных условиях в штабе, пока его не комиссовали. А я стал общественным деятелем, секретарем комсомольской организации части, заодно и завклубом, короче, всем, где нужно было читать и писать. Я замечательно провел время в армии. Я читал книжки. У меня там была библиотека, которая никому была не нужна, потому что никто не читал. Я книги засовывал в голенища сапог — так и ходил. Из дома присылали английские книжки — их я тоже в сапогах носил, немножко опасался, что они привлекут внимание. У меня были полные голенища книг.

Еще я должен был периодически ездить в соседние города отвозить отчеты. А в Казахстане нет общественного транспорта. Поэтому ты уезжаешь на попутках автостопом — и как вернешься, так вернешься. Поэтому я путешествовал по Казахстану на попутках. Хорошо провел время. Единственное, о чем я жалею, что не выучил языки: узбекский, таджикский, лучше фарси. У меня была уникальная ситуация — там было очень много носителей. В частности, у меня был замечательный сослужи-

вещ суфий. Он был грамотный, но не в русском, а именно в фарси. Он Коран читал, знал персидских философов. И в стройбат он попал в силу своих убеждений. Он был немножко странный товарищ, и его решили не отправлять в боевую часть. Я с ним минут пять всего общался и задним числом жалею, что упустил такую возможность выучить фарси.

«Философия — замечательная пропедевтика, но нельзя ею ограничиваться»

Я вернулся из армии и сразу поступил на философский факультет. Я был таким хиппаном, меня интересовала философия, психология, гуманитарные науки. Выбор всего этого отчасти был подростковым протестом против советского инженерства. Я понимал, что я не хочу быть инженером, как мои родители. Папа у меня всегда мечтал быть архитектором, но в последний момент решил поступать не на архитектуру, а на электронику. Это тогда было модно. И стал инженером-электронщиком, радиоинженером. Всю жизнь он был радиоинженером, но очень любил архитектуру. Это была его несостоявшаяся мечта. Мама тоже была радиоинженером. И я очень хорошо представлял себе этот тип советского инженера, которым меньше всего хотел стать.

Тогда были годы полного развала философского факультета. Потому что все коммунистическое содержание ушло, а ничего нового не пришло. Все преподаватели никакой другой философии не

знали и не умели ничего нового давать. Там была такая атмосфера свободы, которая ни на какое содержание не опиралась. Можно было делать что хочешь. Учиться было невероятно легко, потому что любая прочитанная книжка уже засчитывалась. Это было время не для того, чтобы серьезно учиться, а для того, чтобы читать книжки, обсуждать с друзьями философские проблемы. Время очень ценное для личностного роста, но не с научной точки зрения. Не могу сказать, что я там много получил академической философии.

Я читал, писал диплом — одной рукой. Это были, скорее, философские эссе, не опиравшиеся ни на какую научную школу, потому что школы не было. Такие совершенно отвязные размышления о Гуссерле, о феноменологии времени.

Дальше я пошел в аспирантуру на философский факультет, начал там что-то делать опять-таки с Гуссерлем, с темпоральностью. Потом у меня произошел кризис: я разочаровался в философии и полностью переключился на филологию. В итоге я учился в аспирантуре Института восточных рукописей у Якерсона и кандидатскую написал по филологии. На переориентацию у меня ушло лет десять. Но я не жалею. Я до сих пор считаю, что философия — замечательная пропедевтика. Очень хорошо, если филолог в качестве первой степени получает некоторую философскую базу. Но философия без филологии, без умения работать с текстами для меня неинтересна. Мне кажется, что одного философского образования недостаточно. Это фундаментальная база, которая очень полезна, но нельзя ею ограничиваться. Надо куда-то дальше идти и что-то с этим делать.

«Нам важны суффиксы, а смыслом
пусть занимаются другие»

Вначале вся моя иудаика была поисками identity. Первые несколько лет я был соблюдающий — молился и все такое. Из всего круга Еврейского университета на меня больше всего повлиял тип ортодоксального университетского профессора — Дворкин специально таких людей привозил. И они не столько даже давали какие-то знания своими лекциями, сколько были role model, показывали, что такое совмещение вообще возможно, что можно быть одновременно интеллектуалом, религиозным евреем и профессором университета. Такими людьми я восхищался. Мне казалось, что это очень круто. Потому что у них было такое удивительное отношение к материалу, к знанию, которого не было на философском факультете и которого как раз нам не хватало. Положение изнутри, разрушение дистанции между объектом и субъектом.

Для них предмет научного интереса имел и экзистенциальную значимость. Их наука была попыткой осмыслить свое существование в культуре. Отчасти они изучали самих себя. Такая модель вовлеченного научного исследования мне очень нравилась.

Я бы не сказал, что у меня были какие-то серьезные духовные переживания. Мне, скорее, важно было погружение в образ жизни. Для меня ритуальная практика, молитвенные тексты были неким языком, которым нужно овладеть, чтобы стать частью этого сообщества. Не то чтобы я притворялся, но это был, прежде всего, такой

experience. «*Наасе ве-нишма*»*: мне было важно сначала окунуться во все это, а потом попытаться осмыслить.

Тогда, в 1990-х годах, я определял свою область деятельности как изучение еврейских классических текстов, которые я воспринимал как некий комплекс, который начинается с Танаха и включает в себя и каббалу, и хасидизм, и все вплоть до современной израильской литературы.

Выбор мною именно ивритской поэзии предопределил своего рода случай. С середины 1990-х Еврейскому университету дали грант на подготовку учебных пособий для еврейских школ. И Дворкин распределял, кто какой учебник будет писать. И мне он отдал программу по литературе, поскольку я уже тогда литературой занимался, классическими текстами, хорошо знал иврит, был одним из немногих людей, способных читать большие объемы на иврите. Дело в том, что у меня изначально была идея, что иврит — это ключ ко всей еврейской культуре. Начал учить иврит я самостоятельно, в Публичке. Когда я пришел в Еврейский университет, первый мой учитель иврита был в шоке от того, что я пишу как *софер стам*** , такими буквами, как пишут свитки Торы. Мне пришлось осваивать израильское письмо. Я очень много вкладывал в это энергии первые полгода-год, и к концу первого года мне уже дали преподавать иврит и переводить лекции

* «Сделаем и выслушаем [в значении: изучим, поймем]» (Исх., 24:7) — слова еврейского народа при получении Торы, возведенные в один из принципов еврейской религиозной практики.

** Ритуальный писец, который переписывает свитки Торы и другие танахические свитки, пергаменты для мезуз и тфилин (*стам* — аббревиатура слов *Сефер Тора*, тфилин, мезуза).

профессоров. Я очень быстро этим овладел и оку-
нулся в еврейские тексты.

Мы прикинули эту программу по литературе: там должна быть Библия, Талмуд и большой кусок средневековой литературы, которой вообще никто не занимался. Не было человека, который мог бы составить программу по этой литературе, поскольку никто ее не знал. Тогда Дворкин со свойственным ему авантюризмом говорит: хорошо, тогда мы отправляем тебя в Еврейский университет в Иерусалиме с целью сбора материалов по средневековой литературе. И нашел небольшой грант и отправил меня в Иерусалим. Я там сидел в библиотеке, ходил к каким-то профессорам консультировался, собирал материал. И вдруг открыл для себя всю средневековую литературу и был совершенно потрясен и вдохновлен. И после этого я написал и брошюры для школ, и даже книжечку «Золотой век еврейской литературы в Испании»*, а главное — с этого момента я решил, что именно средневековой ивритской словесностью буду заниматься, потому что это одна из самых увлекательных и интересных вещей.

Я подходил к средневековой литературе с эстетическими критериями, и я считаю, что в этом смысле поэзия, которая писалась на иврите в мусульманской Испании, — это лучшее, что было создано на иврите за все время его существования вплоть до Агнона, не касаясь Танаха — Танах в отдельной категории. Агноном я тоже очень увлекался. И для меня между средневековой поэзией и Агноном ничего равного им не было. Мне

* СПб., 1998.

казалось, что это самое достойное, самое важное, что есть в еврейской литературе, то, чем стоит заниматься. Я просто от этого получал огромное удовольствие. Я много лекций на эту тему читал и вскоре понял, что эта поэзия интересна не только с историко-литературной точки зрения, не только потому, что это часть национальной литературной традиции и в то же время эпигонская по отношению к арабской поэзия, только на иврите. На самом деле это явление, которое выходит за рамки такого архивного или национально-культурного интереса, а имеет ценность с точки зрения теории литературы. Потому что явление такой тотальной интертекстуальности, когда стихотворение, с одной стороны, полностью пропитано арабской поэтикой, а с другой — каждым своим словом и выражением обращено к библейскому тексту, когда вся эта поэзия существует на линии напряжения между арабской поэтикой и библейским текстом, это уникальное явление в истории литературы.

Мой подход к прочтению источников во многом, я думаю, предопределен моим философским бэкграундом. Для меня работа с текстом изначально была нагружена методологической рефлексией. Мне всегда было важно не просто прочитать и понять стихотворение, а задать к нему вопросы на метауровне: а что это вообще значит с точки зрения теории литературы, с точки зрения теории метафоры или с точки зрения истории литературы? Меня всегда раздражала в позитивистских исследованиях их ограниченность. Прочтут какую-нибудь рукопись, опубликуют какой-нибудь литературный памятник — а дальше

что? Дальше его нужно понять, извлечь из него какие-то смыслы — ради чего его вообще стоило читать и публиковать? Но иерусалимская и питерская филологические школы не видели своей задачи в осмыслении литературного памятника, а только в публикации, сравнении разночтений, написании примечаний. Меня в свое время просто потрясло, как на востфаке в Питере преподаватели читали талмудический текст, не понимая, о чем идет речь, и не стремясь понимать. Они читали *мидраши*, разбирая синтаксис, анализируя каждое слово — его грамматическую форму, морфологию — как в школе: суффикс, префикс. Но при этом перевести они не могли, не могли объяснить ход мысли мидраша, его методологию. В мидраше идут библейские цитаты и их толкование. Они читали это как сплошной текст, очень плохо различали библейский иврит и мишнаитский иврит, все смешивали в одну кучу. Когда я пытался их спрашивать: «А какую, собственно, проблему в библейском тексте решает этот мидраш?», они говорили: «Это нам неважно, мы не вникаем в смысл текста, нам важны грамматические формы, суффиксы, а смыслом пусть занимаются другие». Так же и Якерсон всегда говорит, что сознательно запрещает себе думать о смысле написанного в его первопечатных книгах или рукописях. Его задача — разлиновка, как сшиты тетради, какой почерк, а вдумываться в содержание — это уже не его задача. Это все вполне легитимно, но это легитимно тогда, когда есть эти самые «другие», которые придут и осмыслят. А этих «других» просто не было. До меня никто этим не занимался. Мне было ужасно обидно.

Мой подход состоит в том, что я всегда пытаюсь, с одной стороны, все, что я пишу или говорю, привязывать к тексту, основываясь на источнике, на рукописи, на анализе тех самых грамматических форм, но при этом выходить на более смысловые вещи, культурологические обобщения.

Шломо ибн Габироль на заборе между культурами

У меня есть такая hidden agenda, но я ее очень редко заявляю, поскольку мне кажется, что в лоб это не действует — это действует только именно как hidden agenda. Я считаю, что этот период в истории еврейской культуры может быть ролевой моделью для некоторых типов современной еврейской культуры. Ключевым здесь является идеал такого двуязычного интеллектуала, который я одно время очень пропагандировал и сейчас тоже его придерживаюсь, просто меньше занимаюсь его пропагандой. Что дала диаспорная модель еврейской культуры? Возможность еврейскому интеллектуалу существовать одновременно в двух культурах и быть своего рода переводчиком и посредником между двумя культурами, объединять сразу два культурных горизонта или даже больше, чем два. Евреи всегда были многоязычны, а в современной сионистской идеологии это многоязычие утратилось — на мой взгляд, это очень большая потеря. И этому моноязычию и монокультурности я противопоставляю идеал средневековых еврейских интеллектуалов в мусульманской Испании, которые прекрасно владели арабским языком и крас-

норечием, философией, читали Коран, были встроены в арабо-мусульманскую цивилизацию и одновременно писали комментарии к Талмуду, филологически штудировали Библию, писали стихи на библейском иврите. Они были главными раввинами еврейских общин и в то же время — главнокомандующими арабских армий. Они смогли довольно долго удерживать это равновесие, сидеть на заборе между культурами, существовать в режиме диалога между двумя культурными горизонтами, и это один из примеров успешной реализации идеала диаспорной еврейской культуры.

Другой важный момент: это был единственный период в истории еврейской литературы, когда еврейские авторы не писали о евреях. В эллинистический период они писали по-гречески и в греческих литературных формах, но на библейские сюжеты или про иудейские войны. В Новое время — то же самое: на иврите или на идише, но они писали про местечко, про еврейскую жизнь, про еврейские проблемы. А средневековые еврейские поэты в Испании — Шмуэль га-Нагид, Моше ибн Эзра, Шломо ибн Габироль — писали о любви, о вине, о саде — о чем угодно. Так же и авторы *макам* — рассказов в рифмованной прозе, где вообще непонятно, кто герой: еврей, мусульманин, христианин. Это просто разбойники, любовники, рыцари. У всей этой литературы еврейскость проявляется не в тематике, а в языке, в том, что она написана на библейском иврите. Библейский иврит не просто инструментален, как любой другой язык, он язык Торы, сакральный язык, который привносит в эту светскую литературу дополнительную символическую нагрузку, дает глубину, сообщает ей тоталь-

ную интертекстуальность, сакрализует ее, пропитывает танахическими культурными кодами. Вот эта модель еврейской культуры, которая, с одной стороны, обращена к классическим, сакральным текстам, а с другой — использует эти культурные коды для того, чтобы говорить о современности — и не специфически, а универсально, мне кажется, очень интересна и может быть источником вдохновения для создания сегодня новых форм еврейской культуры, форматов существования в межкультурном пограничье.

Моя позиция содержит полемический заряд относительно израильской моноязычной и монокультурной модели, а также она полемизирует с тем распространенным мнением, что любая секулярная и двуязычная еврейская культура рано или поздно приводит к полной ассимиляции и к катастрофе. Если говорить о еврейской культуре в мусульманской Испании, можно, конечно, рассуждать так, что все это привело в конечном счете к 1492 году и закончилось крахом испанского еврейства. Точно так же рассуждают про эмансипацию в Германии, которая якобы привела к Холокосту. Но мне такая логика представляется порочной. Я сужу не по последующим событиям, обусловленным на самом деле целым рядом других факторов, а по культурному продукту: когда и где были написаны лучшие стихи и лучшие философские трактаты. С точки зрения культурного достояния этот короткий период внес непропорционально большой вклад в еврейскую сокровищницу: оттуда — все еврейское языкознание, вся еврейская философия, наука, поэзия, художественная проза. Модель оказалась достаточно продуктивной.

«Невежда не может быть евреем»

Пропагандируя этот поликультурный идеал, я, конечно, критикую то, что произошло в еврейском возрождении в России в 1990-х годах. Мне всегда было важно находиться на границе культур и очень не хотелось терять эту диаспорную составляющую, когда ты одновременно и тут и там, и в этой культуре, и в той, и пребываешь между ними в такой многомерной позиции. Мне эта многомерность была очень важна. Но в России модель двуязычного и двукультурного интеллектуала не удерживалась. Люди с этого забора постоянно падали то в одну сторону, то в другую. Одни говорили: мы — русские евреи, у нас русский язык основной, мы носители русской культуры, при этом у нас есть национальная идентичность, но она никак не связана с культурой. Иными словами: то, что я русский еврей, совершенно не означает, что я должен изучать иврит, читать еврейские классические тексты, наполнять эту мою идентичность каким-то культурным багажом, потому что культура у меня — русская. Даже многие исследователи в области иудаики совершенно не считали нужным, например, учить еврейские языки. Я чувствовал себя немножко одиноким в кругу тех ученых, которые занимались иудаикой, поскольку мне казалось, что без еврейских текстов, без иврита просто невозможно этим заниматься. Даже историей российского еврейства невозможно заниматься, потому что там огромная часть источников, необходимых для понимания того, чем жила еврейская община в Российской империи, требует освоения этого культурного кода, заключенного в классиче-

ских текстах — в Торе, в Талмуде, в *ѓалахе*. Если его не освоить, то изучение российского еврейства будет поверхностным, архивным, внешним, не даст возможности дотронуться до сути вопроса.

А были другие люди, которые говорили: если уж ты занимаешься еврейской культурой, то уезжай в Израиль, встраивайся в израильскую науку, а про русский контекст можно забыть. А людей, которые бы публиковались на иврите, были частью израильской науки и одновременно — частью российской культуры, выдерживали бы это двуязычие, более того, были бы посредниками между двумя культурами, их было очень мало.

Меня всегда очень раздражал типаж *hollow Jews*, «пустых евреев», сама идея того, что можно быть евреем, не имея никакого еврейского культурного багажа, не зная никакого еврейского языка. И я всячески пытался с этим бороться. То, что я в конце 1990-х годов обратился к педагогике, стал заниматься образовательными проектами, отчасти связано с этим. Мне хотелось продвигать культуроцентричную модель еврейства в России, я считал, что новая модель российского еврейства должна быть связана не с антисемитизмом, не с еврейскими анекдотами или вычитыванием еврейских фамилий в титрах и даже не с поддержкой Израиля, а с культурным багажом.

Я очень люблю рассказывать историю, которая произошла как раз в конце 1990-х. Мы позвали школьников разных питерских школ, чтобы рассказать им про академическую иудаику и, возможно, привлечь кого-то из них в Еврейский университет. Что-то вроде вроде профориентации. И сделали им встречу с таким питерским

«динозавром» иудаики Исидором Геймовичем Левиным. Он в свое время окончил еврейскую гимназию в Тарту, потом Тартуский университет, изучал иврит в школе «Тарбут». На иврите он говорил совершенно прекрасно — на пророческом иврите, иврите Исаяи и Иезекииля. Он занимался идишской фольклористикой и этнографией, ездил в Иерусалим на разные конгрессы, и все его доклады начинались как пророчество Иезекииля.

И вот мы позвали Исидора Геймовича разговаривать со школьниками. А он сам совершенно светский, радикально антирелигиозный. И вдруг первое, что он спрашивает у детей — а дети там были разного происхождения: «Кто из вас еврей?» Мы опешили, я думаю: ничего себе! Дети сейчас зашугаются. Дети действительно зашугались. Он говорит: «Ладно, ладно! На самом деле никто из вас не еврей. Почему? Потому что невежда не может быть евреем». И он прочитал лекцию, смысл которой сводился к тому, что еврей не тот, у кого мама или папа, а тот, кто знает еврейский язык, может разобрать еврейский текст, обладает еврейским знанием. Человек невежественный, *ам ѓа-арец**, с его точки зрения, не может быть евреем. Это такая идея, идущая от *Wissenschaft des Judentums*, а Исидор Геймович — носитель идеологии *Wissenschaft des Judentums*.

А несколько позднее возник такой термин: «еврей по образованию». Он связан с появлением разных молодежных программ по академической иудаике — малых факультетов, лагерей, летних школ, — которые в чем-то противопоставляли

* Простец, неуч, букв. «народ земли» (ивр.).

себя молодежным клубам «Сохнута», «Гилеля» и так далее, где отбирали по пятому пункту или по Закону о возвращении. В сохнutowских лагерях дети тусовались, дискотеки устраивали по принципу того, что у них общее еврейское происхождение. А дети вокруг академической иудаики тусовались по принципу того, что у них общий интерес к еврейской культуре, — вне зависимости от своего происхождения. И они в большей степени евреи, по Исидору Левину, — евреи по образованию. Мне кажется, это очень важный процесс — осознание того, что еврейское не врожденно. Это, на самом деле, преодоление советской, отчасти постсоветской модели еврейской идентичности. Когда ты считал, что у тебя и так записано в паспорте, что ты еврей, поэтому больше не нужно ничего делать, твое еврейство не требует никаких действий с твоей стороны. Это связано с известными парадоксами евреев-христиан, которые считали, что нет никакого противоречия между твоим религиозным наполнением и тем, что у тебя записано в пятой графе. Твоя «национальность» никоим образом не определяла твою духовную и культурную практику.

«Деколонизация русской жизни»

У меня довольно быстро возникло такое интуитивное ощущение, что те знания и те идеи, которые стали накапливаться в академической иудаике, должны идти вовне, стать достоянием общества. Уже появились люди, которые могли добывать из еврейских текстов разные идеи, появились уже

какие-то результаты научных исследований. Но все они не выходили за пределы узкого круга ученых, тусовки вокруг Еврейского университета. А при этом то, что параллельно происходило в еврейской жизни в целом, было ужасающим. У меня было такое ощущение, что произошла полная колонизация еврейской жизни в бывшем СССР разными иностранными организациями — «Сохнудом», «Джойнтом», Хабадом. Эти три основные организации поделили все поле еврейской жизни и стали его загружать разным импортным содержанием, каждый по-своему, при этом вытоптав всю поляну, не давая расти ничему аутентичному, ничему, что соответствовало бы чаяниям русского еврейства.

Могло ли вырасти что-то свое — это вопрос. С моей точки зрения, не могло вырасти «на пустой желудок». Скажем, то содержание, которое добывала академическая иудаика, могло бы стать как раз тем субстратом, из которого что-то могло вырасти, из которого российские евреи могли бы взять свой голос, найти себе там *пригодное прошлое*, подобрать культурные коды для выражения своего мироощущения. Но все было настолько задавлено разными моделями еврейства, импортированными из Израиля и Америки, что ничего уже не росло. И я видел задачу — тоже такая *hidden agenda* — в деколонизации русской жизни. Причем академическая иудаика оставалась единственным анклавом, где — при наличии финансовой поддержки «Джойнта» и других спонсоров — все-таки не было засилья иностранных моделей. Иудаика оставалась местной, в силу некоторой академической автономии это была резервация

В саду философов

местных людей, которые пытались думать самостоятельно, а не просто заимствовать — не читать брошюры «Джойнта» про то, что такое Песах.

И когда я работал в Еврейском университете — Дворкин меня сделал проректором, я был вторым человеком в университете после Дворкина, — мы с ним всячески придумывали образовательные выходы, которые могли быть у академической иудаики. Начали со школьниками работать, разрабатывать программы для школ. А потом я поехал на программу для эдьюкейтеров в Институт Манделя в Иерусалиме. Она была невероятно ценной, прежде всего тем, что я в течение двух лет просто сидел и читал книжки, общался с умными людьми. А еще это была возможность взглянуть на все, что происходит в России, со стороны, с высоты птичьего полета, спокойно прорефлексировать и проанализировать. Это была такая программа, каких на самом деле очень немного, которая соединяла академическую и образовательную часть. Ты мог учиться в Иерусалимском университете, что я использовал. Я как раз тогда арабским занимался, идиш изучал и свой академический бэкграунд подтягивал. А параллельно с этим там были семинары по философии и образованию, по разным таким вещам. Мне это идеально подходило. И когда я вернулся, у меня было четкое представление о том, чего я хочу. Мне больше всего хотелось построить мостики между академией, образованием и культурой, чтобы те идеи, которые рождаются в академии, как-то «впрыскивать» в реальность. Мне было неинтересно заниматься только академической наукой ради нее самой. Мне было интересно посмотреть: а как она на умы людей может

воздействовать? Что будет, если взять и сделать инъекцию этих идей в местную интеллектуальную культуру? Что это изменит? Хотелось по-марксистски, чтобы эти идеи начинали как-то менять мир, а не только описывали его. Были разные планы и поползновения. А потом произошел замечательный союз с фондом «Ави Хай», который как раз искал такие проекты, которые были бы немножко out of the box.

Выход из гетто

Так родился проект «Эшколот» с идеей не популяризации даже, а скорее, таких интервенций академической иудаики в широкую культуру, такого urban partisaning, когда ты проводишь какую-то акцию, основанную на глубоких вещах из еврейской философии, литературы, мистики, не снижая планки, то есть не читаешь научно-популярную лекцию, а пытаешься воплотить эти идеи, представив их, с одной стороны, в интеллектуальном, когнитивном плане, а с другой — в виде экспириенса, когда можно их буквально на вкус попробовать. Отсюда наш слоган: «Taste of ideas».

Помимо поиска таких форматов для инъекции идей другой изначальной задачей было выйти из гетто. До проекта «Эшколот» все мероприятия, посвященные еврейской культуре, происходили на еврейских площадках. Если московский интеллигент хотел познакомиться с еврейской культурой, ему нужно было идти в Еврейский культурный центр на Никитской или в общинный центр в Марьиной роще или еще куда-нибудь, куда он не

В саду философов

очень хотел идти: для этого ему требовалось преодолеть какие-то границы, выйти из комфортной ему публичной сферы в еврейское гетто. И у меня была идея, что нужно нам самим выйти из гетто и сделать еврейские идеи, взятые из еврейской культуры, из академической иудаики, нормальной частью московского культурного ландшафта, тем, с чем человек встречается в модных кафе. Это в одном смысле. Во втором смысле, это выход из гетто академической науки, университетской науки, из башни из слоновой кости. Это попадает в общий тренд открытого образования. Самые интересные вещи происходят уже не в университете, не на лекции, а в парках, кафе или в каких-то неожиданных местах. С моей точки зрения, самое интересное, что происходит в области философии в Москве, это лекции Йоэля Регева, которые проходят на выставках, в арт-подвалах, и туда приходят толпы народу. Там все бурлит. Там происходит то, что раньше могло бы происходить на философском факультете университета, но уже не происходит.

Если говорить про тематические приоритеты, то задача проекта «Эшколот», как я себе это вижу, — разрушить стереотипы, сделать рефрейминг еврейской культуры, представив ее не как культуру местечка или культуру жертв Холокоста и антисемитизма, а как культуру, в которой есть философия, литература, поэзия, искусство, архитектура. Для этого нужна корректирующая дискриминация, новая диспропорция, которая бы исправила существующую диспропорцию. И поэтому музыка евреев Марокко для нас важнее, чем история ашкеназов Восточной Европы. Потому что последняя

здесь представлена и без нас. Про Холокост и без нас можно узнать. А нам очень важно заполнить вакуум и сделать дегустации того, о чем люди не имели представления. Показать, что еврейская культура универсальна, глобальна, она трехтысячелетняя, она охватывает все сферы жизни и все географические пояса. Представить людям еврейскую культуру не как штетл, хава нагилу и *клезмер*, а как невероятно богатую цивилизацию во всем ее географическом и историческом масштабе.

Благодаря тому что мы постоянно меняем тематические области, к нам каждый раз приходят новые люди. На каждом мероприятии 30% полностью новых людей, которые еще никогда у нас не были. Часто они приходят не за еврейской культурой, а за тематической областью: архитектурой, урбанистикой, философией. И это разные *crowds*. А есть ядро людей, которые более или менее регулярно ходят, которых интересует именно еврейская культура в ее многообразии, и они хотят копать дальше. В этом смысле сложилось такое *learning community*, секта интеллектуалов. Но если сравнить эти две части с планетой и кольцами Сатурна, то сама планета сильно меньше, чем то, что вокруг. Постоянных посетителей сотни, а всего у нас побывало порядка 10 тыс. Поэтому я считаю, что секта сектой, но главный успех — это то, что удалось выйти из гетто. За эти годы еврейские культурные ивенты стали нормальным явлением в интеллектуальном ландшафте Москвы. Теперь не запахло сказать, что я пошел на лекцию по еврейскому искусству. Как мне кажется, даже этого достаточно, это стоило того, чтобы «Эшколот» затевать.

«То, что это Талмуд, не значит,
что это должно быть безобразно»

Во всех моих занятиях — и научных, и образовательных — для меня очень важна эстетическая составляющая. Один из источников этой темы — собственно средневековая поэзия. Для меня андалусский пир — это не просто предмет изучения, это ролевая модель, модель еврейской культуры, которая мне очень близка. И она связана с переживанием культуры как чего-то эстетического, с идеей тотальности эстетического переживания. Пир — это не просто бухалово, не просто чтение стихов или исполнение песен и не просто общение, это синтетическое действие, где все каналы чувств должны включаться: и зрение, и обоняние, и осязание, и слух, и вкус, и разум. Все это сливается в такую модель *Ган Эдена*. И для меня такая модель культуры, которая задействует все способности человека и стремится к эстетическому совершенству, всегда была источником вдохновения.

С другой стороны, для меня всегда была неприемлема местечковая эстетика той культуры, которую колонизаторы здесь насадили, или отсутствие эстетики как таковой. Такая «хаванагильщина», «еврейский дизайн» — много магендовидов и *менор*, пластиковые стаканчики и корявые рисуночки бородатых евреев или фотографии шербатовых детей на коробках с мацой. А я обращаюсь к целевой аудитории, эстетическим запросам которой это никак не соответствует. И я сам часть этой аудитории. И мне не хочется морщиться. Я — представитель современной европейской культуры, я читаю определенные книги, определенную му-

зыку слушаю, у меня есть определенный эстетический вкус. И мне не нравится, что к еврейской культуре прилагают другие критерии именно потому, что она своя, еврейская, можно особо не стараться. Мне кажется, что упаковать еврейскую культуру в хороший дизайн — это тоже очень важно, потому что это своего рода присвоение. Я не готов поступиться своим эстетическим вкусом, когда речь идет о листочке, на котором напечатан Талмуд. То, что это Талмуд, не значит, что это должно быть безобразно.

Интересно, что тотальная безвкусица в ультраортодоксальной среде — это результат забвения, вытеснения собственного прошлого. Я очень люблю рассказ Хаймовича* о том, как у него образовалась группа из нескольких учеников — хасидов из Меа Шеарим. Они приходили к нему в библиотеку, и он им показывал изображения на мацевах, фрески синагог Восточной Европы — то, чем он занимается. И они были в шоке. Сначала они ему говорили: «Ты нам врешь, ты сам это нарисовал! Наши деды не могли этим заниматься. Это *авода зара*, это какие-то гойские штуки!» Понятно, что эстетика современного Меа Шеарим — это китчевая эстетика, эстетика совершенно другого уровня. Когда эти хасиды столкнулись с тем, что изображали их же собственные прадеды в Восточной Европе, для них это было просто синайское откровение. Они ходили консультироваться к раввинам, можно ли им вообще смотреть на эти картинки. Это пример того, как за 50–70 лет целая эстетика была стерта и забыта. То же и в моей об-

* Борис Хаймович — доктор искусствоведения, специалист по еврейскому традиционному искусству.

В саду философов

ласти — области поэзии. Вся эта эстетика слова, все, что было связано с культом красоты в средневековой Андалусии, все это было забыто потом на многие века. И только в XIX веке начали постепенно откапывать. И до сих пор это не до конца освоено даже израильской культурой. Это тоже такое пригодное прошлое, пригодное эстетическое прошлое. И в этом смысле еврейское искусствование очень важно — оно работает с этим прошлым, ищет источники вдохновения, находит достойные — не дешевые — модели.

«Как перейти от потребления к творчеству?»

Я рассчитываю, что у этого впрыскивания еврейских идей в современную российскую интеллектуальную культуру, которое осуществляет «Эшколот», будут разные косвенные, отдаленные последствия. Люди, попробовав эти идеи на вкус, потом начнут с ними делать что угодно — много всяких увлекательных и непредсказуемых траекторий возникает. Но пока эта задача-максимум не выполнена, с 1990-х годов так ничего в этом роде и не произошло. Скажем, испанское еврейство породило культурный продукт. А российское — нет. Хотя «Эшколот» и академическая иудаика и другие проекты по-разному осваивают еврейскую культуру. «Эшколот» ее репрезентирует, упаковывает, пытается сделать частью достойного интеллектуального разговора в Москве. Но продукт по-прежнему не появляется. Прошло уже 25 лет с начала еврейского возрождения, и до

сих пор у нас нет ни одного писателя, ни одного философа, ни одной книги, которая стала бы фактом еврейской культуры. Допустим, у французов был Левинас, у немцев был Бубер, Вальтер Бен-Ямин, Ханна Арендт, у итальянцев — Примо Леви, а у русских постсоветских евреев кого можно назвать? Что они создали, какую великую книгу написали, оперу, балет, комментарий к Торе? Никакого культурного продукта пока нет.

Сначала я думал, что виновата колонизация: все настолько подчинено импортируемому контенту, что российские евреи не могут обрести свой собственный голос, ничто самостоятельное не может вырасти. Потом я начал думать, что вопрос не только в колонизации, но и в пустом желудке: что сначала нужно освоить еврейские культурные коды, на которых потом создавать что-то свое, но переводимое на общееврейский язык. Вроде бы это уже произошло, академическая иудаика уже десятилетиями здесь есть, еврейские школы и кафедры выпускают людей вполне компетентных. Но употребление в пищу еврейских знаний по-прежнему не приводит к созданию чего-то своего. Что должно произойти для того, чтобы перейти от потребления к творчеству? Для меня это пока загадка.

Мне кажется, вот этот культурный продукт — это самое главное, чего сейчас не хватает. Науки хватает — при всех проблемах российской иудаики, мне кажется, что все нормально. Студенты учатся, прекрасно знают иврит, конференции и экспедиции происходят, специалисты выпускаются, молодые ученые есть, хоть их и немного. Но нам и не нужны сотни кандидатов наук и тысячи

студентов. Академическая иудаика существует сегодня в тех объемах, на том уровне, который отвечает необходимости в этой области — в том же объеме, что и японистика, китаистика, арабистика. Но вопрос: «Что это дает?» — по-прежнему не решен: научные статьи, которые никто не читает, или это все-таки становится базой для культурного продукта?

В последнее время у меня появились небольшие ростки оптимизма, связанные с деятельностью философа Йозефа Реева — я его большой фанат. У него интересная личная история: он учился в Кунцевской ешиве, а потом уехал в Израиль и отошел от иудаизма, но при этом не то чтобы отрицая свое прошлое, а, скорее, интерпретируя его на языке европейской философии. Это человек, который видит себя прямо связанным с внутренним ядром еврейской культуры, а с другой стороны, он ультрарадикально современный. Он полностью погружен в иврит, в еврейские источники, читает саббатские трактаты, лурианскую каббалу, сочинения франкфуртских раввинов XVIII века, а с другой стороны — всех этих модных Жижексов, Бурдье и других современных философов. Ему удастся удивительным образом переводить одно на язык другого. Как Левинас говорил о том, что нужно переводить Талмуд на греческий язык, то есть на язык эллинской премудрости, европейской философии. А Реев сейчас переводит еврейскую мысль, мистику, теологию на язык авангардной философии. То есть он как раз идеально отвечает моему представлению о двуязычном интеллектуале. И его основное референтное сообщество, его последователи, его

собеседники — они все в России. Пример Регева убеждает меня в том, что появление чего-то нового на стыке еврейского и нееврейского возможно.

Путешествие иудаики из Петербурга в Москву

Есть такой нарратив, который Дворкин обычно продвигает, и, может быть, он отчасти отвечает реальности. Нарратив о том, что академическая иудаика проделала путь из Питера в Москву. Ведь то, что было в Москве в конце 1980-х: «Маханаим», сионисты, рефьюзники, религиозная тусовка вокруг Кунцевской ешивы — все это полностью переместилось в Израиль, и в Москве почти ничего не осталось. И эта пустая ниша заполнилась питерским влиянием, в котором важным было представление о том, что может быть создан местный *Wissenschaft des Judentums*. Питерский Еврейский университет возник первым, и он стал моделью, по которой потом создавался Еврейский университет в Москве. В каком-то смысле Питер был источником вдохновения для московской иудаики.

Но если перескочить к сегодняшнему дню, то сейчас главное отличие Москвы от Питера состоит в наличии серьезного большого публичного пространства, которое отсутствует в Питере. В Питере, например, есть несколько еврейских, в том числе академических, институций: есть Институт иудаики, есть ученые, которые сидят в Европейском университете, в Институте восточных рукописей, в Госуниверситете есть парочка — но между ними нет никакого взаимодействия.

В саду философов

Каждый сидит в своей башне, а в публичном пространстве Питера ничего не происходит.

И в целом в Питере как в городе гораздо меньше публичного пространства, чем в Москве. В Москве же капковщина на самом деле началась намного раньше Капкова, когда важным элементом городской среды становились публичные пространства: парки, кафе, галереи, «третьи места», — где есть вай-фай, где люди сидят с ноутбуками. Не работа и не дом, а именно публичное пространство. И оно стало важным местом встречи разных элементов, включая элементы еврейской культуры, иудаики. И появился некий общий marketplace of ideas. В Питере этого нет, Питер — город без этого рынка. В Питере появляются какие-то отдельные точки, но очень медленно и с огромным скрипом. Мне кажется, это связано отчасти с экономической подоплекой. Потому что Москва — это место силы с точки зрения — в том числе — социально-экономической. Например, средний московский студент может себе позволить пойти в «Старбакс». А среднестатистический питерский студент не может. Ему зайти выпить кофе, пойти куда-нибудь поесть — это уже целое серьезное решение. В Питере почти нет мест, бизнес-модель которых состоит в том, чтобы люди сидели в них как можно дольше. Там почти везде бизнес-модель такая: клиент пришел, быстро выпил чашку кофе, свалил и на его место сел другой. Поэтому там нет таких мест, как в Москве, где люди зависают на целый день. В Москве такие зависалова — через каждые 100 метров в центре города, и они создают public space, очень ценный с точки зрения формирования общественного дискурса, обмена

Галина Зеленина. Иудаика два

идеями, этого marketplace. А в Питере его очень мало, и все попытки что-то такое сделать тонут в питерском болоте. Погода питерская. В Питере люди по-прежнему сидят на кухнях.

В Москве есть питательная среда для культурных инъекций, им гораздо легче здесь стать частью разговора, быть услышанными. Поэтому вбрасывать идеи в Москве гораздо более благодарная задача, чем в Питере, где все уходит в болото. Отчасти количество влияет на качество: в Москве всего больше и все быстрее. Надежды увидеть что-то новое еще при нашей жизни здесь больше.

ВАЛЕРИЙ ДЫМШИЦ

**«РЕБЯТА, ВОТ ЖЕ ОГРОМНАЯ
КУЛЬТУРА, А ВЫ ЕЕ ПРОСПАЛИ»**

Валерий Аронович Дымшиц — доктор химических наук, этнограф, фольклорист и переводчик, сотрудник Центра «Петербургская иудаика» в Европейском университете в С.-Петербурге, профессор кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук СПбГУ, преподаватель С.-Петербургской классической гимназии № 610.

Иврит против Конан Дойла

Мне повезло. Я 1959 года рождения, и у меня было то, что у детей моего года рождения бывало редко. Все-таки советская страна — война, репрессии, тоска. А у меня был полный комплект бабушек и дедушек, две прабабушки, прадедушка и старший брат бабушки, который был ее старше на 13 лет и родился еще в конце XIX века. Они были все простые — ну или не очень простые — советские люди. Никакого идиша или иудаизма, естественно, не было: мало что знали, мало что помнили, все это, скорее, было окрашено таким, я бы сказал, национальным сентиментом.

У всех моих родственников, включая родителей, была одна очень странная идея, такой консенсус: они подразумевали — проговаривалось это уже в существенно более поздние годы, — что быть евреем в советской стране отчасти травма-

тично и поэтому надо у ребенка — а так оказалось, что я был чуть ли не единственным ребенком в огромном клане, — создавать ощущение, что еврейство — это что-то очень симпатичное, позитивное, чем стоит гордиться, что стоит любить. Но не более того — без ухода, скажем, в криптоиудаизм. И при этом, понятно, набор был довольно конечный: Шолом-Алейхем, Фейхтвангер.

У меня был замечательный дедушка — Моисей Соломонович Дымшиц, который жил в замечательном городе Адлере: Черное море, субтропики, прекрасный сад фруктовый. Понятно, что если есть такой дедушка, то ребенка из туманного Ленинграда отправляют на юг в полпинка. Мы с дедушкой целое лето ходили на пляж, и он все время невзначай пересказывал мне разные библейские сюжеты. Он был человек хорошо образованный с религиозной точки зрения, но при этом член партии, совершенно не соблюдающий. Он родом из Велижа — сейчас это Смоленская область, а тогда была Витебская губерния, из такой мелкобуржуазной семьи. У его отца был магазин или что-то такое. Он сначала учился в хедере, потом пошел учиться в гимназию, которая со временем превратилась в советскую трудовую школу, а вечером к нему приходил меламед — что тогда очень широко практиковалось. Он был 1908 года рождения, и когда он в 15 лет экстерном окончил школу, потому что был очень способный человек, его сделали *магидом*, проповедником, в местной хабадской синагоге. Вероятно, сыграло роль некоторое оскудение кадров. А потом он ушел в революцию, в советскую жизнь. Во время войны они эвакуировались в Удмуртию, а из эвакуации поехали уже на Черное море и обо-

сновались в Адлере. Возвращаться было особенно некуда, потому что этот несчастный Велиж стал местом, куда дошла Красная Армия во время наступления под Москвой. Окраины Велижа Красная Армия заняла в феврале 1942-го, а освободила его в августе 1943-го. То есть полтора года через город с населением в 15 тыс. человек проходила линия фронта, Верден такой. От него осталась точка на карте и кучка битого кирпича.

У дедушки была идея, что иудаизм — это такое национальное достояние, очень важная часть мировой культуры, которую почему-то эти дураки не учат — так он восполнит. Дедушка хотел научить меня ивриту, сам он его знал блестяще. Мы освоили с ним алеф-бейс, а дальше дело не пошло, потому что дедушка был человек очень мягкий, и вот с одной стороны был дедушка с каким-то никому не нужным ивритом, а с другой — Черное море, фрукты, а самое главное — у него была отличная домашняя библиотека, набитая всякими подписными изданиями: Марк Твен, Вальтер Скотт, Конан Дойл, — что нормальные дети читают. И вот эта комбинация, когда ты лежишь на пляже, читаешь Дюма и грызешь огромный французский дюшес, и тут тебе говорят: а теперь пойдём учить иврит. Понятно, что иврит проигрывал.

Еще был старший брат бабушки, замечательный филолог — сначала классик, потом, во второй половине жизни, специалист по русской литературе — Моисей Семенович Альтман. Ученик Вячеслава Иванова, друг Волошина. Он 1896 года рождения и до 10 лет, пока его родители не забрали в Баку, жил в маленьком белорусском местечке Улла и русского языка не знал ни хорошо, ни пло-

хо — никак не знал, учился в хабадском хедере — настоящем, без дураков. Он при этом жил со своей бабушкой, моей прапрабабушкой — потому что его родители уехали в большой город «делать жизнь». И она брила голову, ходила в парике. То есть это уже даже не Шолом-Алейхем, а, скорее, Менделе Мойхер-Сфорим. Полный мрак: затерянное в лесах на берегу Западной Двины крохотное местечко — и он все это хорошо помнил, любил, гордился. Местечковый быт и нравы были предметом рассказов — и дяди Моисея, и дедушки Моисея. Ну и это все прилипало. Например, я в подростковом возрасте знал слово «хасидизм». Не знаю, были ли другие советские дети, которые знали это слово.

Оба моих дедушки слушали «Голос Израиля», причем адлерский дедушка его на иврите слушал. Были какие-то минимальные праздники — Пейсах, Рош Ашоне. Естественно, ходили в синагогу покупать мацу, причем я в детстве ходил с мамой, потому что мама училась в аспирантуре и у нее было самое свободное расписание, и она забирала меня из детского сада и мы шли в синагогу за мацой.

И вот надо было дожить до седых волос, прочитать кучу книг, чтобы задуматься: а правильно ли это было, опасно ли, была ли тут национальная борьба, протест?.. А бог его знает. Вот так живем и живем — хлеб жуем.

«Вообще, все было очень хорошо»

Мы были не гордые евреи и не забытые — а натуральные. Расскажу по этому поводу такой анекдот.

Когда я начал работать у Ильи Дворкина в Еврейском университете, к нам примкнула очень симпатичная, немолодая уже дама Светлана Израилевна С., искусствовед, специалист по иконописи. Она, как многие в 1990-х годах, открыла в себе еврея и решила поучаствовать в Еврейском университете. И вот мы сидим на работе, пьем чай, и Светлана Израилевна с большим напором рассказывает о том, как нелегко ей было жить в советской стране с отчеством «Израилевна», как добрые люди не раз намекали ей, что надо бы отчество сменить — либо в документах, либо хотя бы в устной практике, но она всегда свято чтит память своего отца и гордо с этим отчеством шла по жизни, несмотря на такие и сякие troubles. И так впечатляюще это рассказывает — как историю борьбы, потери и одоления. И я сижу и охаю и ахаю, сочувствую ей и восхищаюсь тем, какой она мужественный человек, и мы пьем чай, и идет такая неспешная учрежденческая беседа. И мы допили чай и пошли заниматься своими делами, и только через час или два — в силу врожденной, видимо, тупости — до меня дошло, что я — Валерий Аронович и всю жизнь живу с отчеством Аронович и ни разу об этом не думал ничего, хорошо это или плохо. А папа у меня Арон Моисеевич и всю жизнь прожил с таким именем-отчеством в Ленинграде и работал в оборонке.

Так, видимо, всем свезло в жизни, что все члены моей семьи были по-советски люди очень успешные. Все у них хорошо было в профессиональном, в карьерном плане. Дедушка мой со стороны мамы был директором огромного нефтехимического завода им. Шаумяна. Он был образцовый советский инженер из тех, что пошли в гору в 1930-х годах.

Не попал ни под какую кампанию и был последним в Ленинграде евреем — директором крупного предприятия, его единственного не сняли. По семейному преданию, в конце 1952-го — начале 1953-го у него чемоданчик с бельем стоял под кроватью — но не успели. Доработал до пенсии, дважды лауреат Сталинской премии, все дела.

А адлерский дед занимался сельским хозяйством, основал и возглавлял большую сельхозшколу, где готовили председателей колхозов, агрономов — управленческие кадры для колхозов Причерноморья и Кубани. И в городе с населением в 12 тыс. он был очень уважаемым человеком, ректором единственного специального учебного заведения, мы шли с ним по городу — каждый здоровался! В пределах этого своего Адлера он абсолютно состоялся. И ленинградские ездили туда отдыхать все время, а они приезжали к нам в Ленинград, все друг друга очень любили, у всех был общий бэкграунд, общая дальняя родня, все примерно из одной губернии... Вообще, все было очень хорошо.

Все они очень умеренно любили советскую власть, такое необходимое зло — ну есть и есть. Оба дедушки были, естественно, членами партии. А мама и папа не были в партии, и это для них была проблема, мешало их карьерному росту. Мама — химик, профессор Технологического института, доктор наук. Папа занимался гидроакустикой и был замом генерального конструктора на гидроакустических комплексах, которые стоят на нашем подводном флоте. Они до сих пор там стоят — то есть с его гидроакустикой оно все плавает. И не вылезал оттуда: так живешь, и вдруг

папа раз — и куда-нибудь на Тихоокеанский флот на три месяца, и при этом не звонит, не пишет, потому что в автономном плавании. Испытания же проводились там, в глубинах океана. И понятно, что по статусу — профессор и зам генерального конструктора — им надо было быть в партии, но это не обсуждалось. Я очень хорошо помню, как в подростковом возрасте не спал — слушал, как родители беседуют на кухне. И папа говорит маме, что очень сильно выкручивают руки — по должности, по кругу обязанностей надо быть членом партии. А мама ему: ты что, с ума сошел, о чем тут говорить! Их поколение — а они такие образцовые шестидесятники, Высоцкий-Ким-Галич-Окуджава, туристические походы, байдарки, горы — считало это неприемлемым. Причем вот почему оборонный щит Советского Союза, этой «империи зла», ковать можно, а состоять в КПСС — нельзя, почему ругать советскую власть и слушать Галича можно и можно при этом продолжать ковать оборонный щит? В рамках линейной логики это необъяснимо. Но так все жили. Это такая поколенческая вещь. Ни одного деда никто, естественно, в этом не упрекнул, они вступили когда вступили — один в 1930-х годах, другой — во время войны, ну и ладно. Но после XX съезда — как отрезало. После XX съезда вменяемые интеллигентные люди в партию не вступали.

Love-story «Почему я люблю улитку»

В пять лет я решил, что буду биологом, зоологом. И кроме биологии меня по большому счету ниче-

го не интересовало. У меня скопилась огромная библиотека популярных книг по биологии, я читал 24 часа в сутки, несколько лет подряд. Лет в 11–12 вставал сам по будильнику на два часа раньше, чем надо было в школу, и читал книжки по биологии. Такой вот фанатизм. Дважды был чемпионом города Ленинграда в биологических олимпиадах. Это все происходило во Дворце пионеров — а это царский дворец, Аничков: военный оркестр играет туш, декан биофака повязывает тебе через плечо голубую ленту с надписью «Чемпион 1973 года». Это ужасно понтово.

Я занимался в кружке при биофаке, занимался биологией беспозвоночных — моллюсками, кораллами, медузами, червями. Очень они мне нравились. Моя love-story с улитками и прочими началась, когда я пошел в пятом классе во Дворец пионеров в кружок гидробиологии. У нас была удивительная преподавательница, которая показала нам мир водяных тварей, и я был потрясен просто обитателями пруда — прудовиками, пиявками... Дуремар, да. А на биофаке была замечательная кафедра беспозвоночных, и я на этой кафедре ел, пил, спал, жил. Школа меня интересовала постольку-поскольку.

А дальше произошла удивительная история, о которой я узнал, когда мне было уже много лет — я везде отучился, женился и так далее. Когда я оканчивал восьмой класс, руководитель нашего кружка Сергей Анатольевич Подлипаев (у нас была колоссальная разница в возрасте — 10 лет, мне было 14, а ему — 24, я был семиклассником, а он был аспирантом, и у него была вот такая борода! Через много лет мы встретились в стенах

нашей классической гимназии, где я преподавал химию, а он — биологию, и понять, в чем была разница, было совершенно невозможно), милейший, умнейший, интеллигентнейший человек, вызвал моих родителей и сказал: «Мальчик очень способный, не ест, не спит — изучает беспозвоночных, но на биофак его не примут ни в каком виде, никогда». Ленинградский университет был довольно глухим местом. Ведь многое зависело не от партии и правительства, а конкретно от ректората, деканата и так далее. А олимпиады эти, которые я выигрывал, тогда никаких льгот никому не давали, и то, что декан биофака взял мне эту ленту, совершенно не значило, что он рад был бы видеть меня своим студентом. И вот Подлипаев объясняет моим родителям, что, мол, ребенок придет подавать документы, естественно, не поступит по какому-нибудь выдуманному поводу, и это будет ужасная травма и человек сломается. Сделайте что-нибудь. И мои папа с мамой, замечательные папа с мамой, сделали удивительную вещь. Они стали мне рассказывать, что, вообще говоря, ты дурью маешься, что вся эта классическая зоология — наука XIX века, Паганель какой-нибудь ходил и жучков ловил, и это все смешно, а есть прогрессивная молекулярная биология, молекулярная генетика, на стыке наук... Стали покупать книжки соответствующие и мне подсовывать — по генетике, по биохимии. В результате чего я после восьмого класса по их настоянию поступил в химическую школу, а тут как раз в Техноложке открыли биотехнологический факультет. А слово «биотехнология» в 1976 году звучало примерно так же, как на 10 лет раньше слово

«космонавтика»: никто не знает, что это такое, но ужасно прогрессивно. И я поступил в Техноложку с ощущением, что я на острие прогресса и что нам эти букашки-таракашки. То есть на самом деле ситуация была очень тяжелая, но она была полностью сдмпфирована умным поведением моих родителей.

Тут надо что-то сказать про советскую власть. Она была очень странная советская власть. Способы, методы и причины дискриминации евреев в годы застоя я искренне не понимаю. Вот на биофаке, на который я не поступал и не мог бы поступить, конкурс был четыре человека на место, а на этом вновь открывшемся биотехнологическом факультете — 9—10 человек на место. Понятно, что технологическое образование, которое сочетало фундаментальную науку с инженерией, давало больше возможностей — ты мог идти на производство, в проектную контору, в НИИ — куда душа лежит. А после университета, если ты не попадал в академический институт, то гремел в школу учителем. То есть социальных предпочтений университет не давал никаких. Я понимаю, могут быть какие-нибудь южные плантаторы, которые говорят: вот, у нас есть дискриминируемое меньшинство, мы их не любим, они будут всю жизнь полоть хлопок, а в Гарвард мы их не пустим. В этом есть логика — они никогда не войдут в некую касту. А какие такие блага давало изучение моллюсков? Как всегда, борьба шла за символические ценности — «университет». В «университет» нельзя, и все. Это вообще очень интересная тема, у нас коллеги пытались изучать ее: куда брали, куда не брали. В Ленинграде были

такие Big Three — три больших инженерных вуза: Техноложка, Политех, ЛЭТИ. В Техноложку брали всех и всегда, в Политех на одни факультеты брали, на другие не брали, в ЛЭТИ не брали никого и никогда, я имею в виду 1980-е годы. И в то же самое время на Украине еврей в принципе не мог получить высшее образование — ни хорошее, ни плохое, ни фундаментальное, ни инженерное — никакое. Максимум — в каком-нибудь житомирском сельхозтехникуме. Поэтому все украинские еврейские мальчики разъезжались учиться в радиусе от Таллина до Томска. Почему? Я не думаю, что сидел какой-то чин в ЦК партии и писал разнорядки. Что-то, вероятно, определялось личной политикой ректора. Был же такой феодализм, и вот феодальный барон говорит: а этих я не беру, не буду мараить высокое имя университета имени Жданова жидовским прикосновением.

В Техноложке мне страшно нравилось. С первого курса я пошел работать на кафедру. Окончил, сразу поступил в аспирантуру, окончил аспирантуру, защитился, остался работать на кафедре. Я не преподавал, у нас была замечательная договоренность с шефом о том, что у меня в принципе нет никаких служебных обязанностей. Я генерировал много всяких идей, а ему надо было чем-то загружать аспирантов и дипломников, и он понимал, что я все равно буду так или иначе ими руководить, буду им темы придумывать. Я занимался и теоретической биологией, и генной инженерией, и классической биотехнологией, то есть культивированием микроорганизмов, и одновременно — физической и органической химией, написал книжку «Химия органических кристаллов»,

по которой защищался. Это была очень хорошая жизнь. Я был старший лаборант со степенью, потом — младший научный сотрудник, потом ушел в докторантуру на три года и написал докторскую, и сразу после защиты докторской я оттуда ушел. У меня уже был другой интерес.

Химию и биологию я по сей день преподаю в классической гимназии. В какой-то момент мне предложили попробовать, я пришел — мне страшно понравилось. Во-первых, мне нравится учить детей. Во-вторых, я не дичаю, у меня в голове крутятся какие-то естественнонаучные сюжеты, я должен что-то такое читать, готовиться к урокам. В-третьих, наша био-я гимназия — это такой привилегированный интеллектуальный клуб, я очень люблю и наших детей, и своих коллег. Я этим деньги не зарабатываю — у меня очень маленькая нагрузка, четыре урока в неделю меня не могут ни погубить, ни спасти. Но мне нравится это место, и у меня есть ощущение, что, когда я работаю в школе, я приношу пользу. Потому что все, что мы делаем в академической иудаике, это вилами по воде писано, а тут я точно знаю, что дети дальше что-то с этим будут делать: либо просто знать, либо поступать и учиться дальше.

Золотая лихорадка в Меджибоже

Когда я в эти еврейские дела вляпался, мне было лет 30. Параллельно происходило несколько вещей. Ведь так не бывает, чтобы человек встал утром, почистил зубы, ударился головой о кафельный пол и стал Финистом — ясным соколом или

специалистом по иудаике, сжег все, чему поклонялся, и поклонился всему, что сжигал. Во-первых, ты во что-то влезашь, и чем глубже влезашь, тем интереснее становится. А тогда был момент такого «штурм унд дранг», и было особенно интересно. Понятно, что лучше быть географом во времена Колумба, нежели сейчас: шансов найти новый материк нету, а тогда были. Как барон Мюнхгаузен совершал несколько подвигов до завтрака, можно было до завтрака сделать несколько научных открытий. Мы тогда с Дворкиным делали элементарную вещь — просто наносили на карту сохранившиеся значимые исторические и художественные памятники. Скажем, в Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона написано, что в месте N. была большая еврейская община аж с XVI века, — и что, и как? Никто же не знает. Туда едешь — а там, батюшки-светы, что-то удивительное. Или ничего — пустырь, и козы пасутся. То есть ситуация такая, что куда бы ты ни шагнул, везде чудеса, успехи. Пионерство вот это, первооткрывательство, золотая лихорадка.

Во-вторых, все это происходило в первой половине — середине 1990-х годов, когда естественные науки в постсоветской России умирали, причем умирали в диких муках и корчах. Невозможно себе представить степень этого ужаса. Есть такие приятные занятия, вроде математики или филологии, когда нужен карандаш и чистый лист бумаги. В нашем деле нужны реактивы, установки, лаборанты, посуда — это дорогая игрушка, требующая инфраструктуры и логистики. Это все разваливалось на глазах. Вообще говоря, чтобы сохранить себя в профессии, сохранить элемен-

тарное самоуважение, надо было немедленно валить, немедленно. Но по многим причинам я этого делать не хотел.

В частности, была такая побочная история: еще с конца 1970-х годов я занимался, и довольно серьезно занимался, художественным переводом — с английского и немецкого. Я ходил в семинар Эльги Львовны Линецкой при Доме писателей. А начал я переводить, когда учился в Техноложке. Важным элементом преподавания иностранного языка в техническом вузе были так называемые «тысячи»: тебе давали статью на языке — в моем случае это был немецкий, — и ты должен был перевести ее на русский, а зачет ставили за сколько-то тысяч знаков. Переводить, как правило, приходилось статью не по своей специальности, а какая найдется, потому что иностранной литературы у нас особенно не было — какие-то зачуханные копии каких-то замшелых журналов. Скажем, я изучал органическую химию и микробиологию, а переводить мне дали гэдээровскую статью про производство цемента. Я был плохой студент — в том смысле, что работал на кафедре, меня интересовала высокая наука, а на нормальный учебный процесс я забивал — не девочка же я, в конце концов. И у меня были всякие хвосты, долги, я все делал в последний момент. И вот я понимаю, что мне надо за ночь перевести статью про цемент, ужасную, с зубодробительной цементной терминологией. И представляю себе свою преподавательницу немецкого. Кто преподает языки в техническом вузе? Это выпускницы филфака, такие интеллигентные дамы, которые рассчитывали быть филологами, лингвистами, но

не напасешься же на всех мест, и вот после спецсеминаров, после диплома про какого-нибудь Рильке — цемент, в котором она понимает еще меньше меня, и тоска смертная. И я решил, что не буду клепать про цемент, а лучше переведу-ка ей Брехта. А я лет с семнадцати, как многие начитанные мальчишки-девочки, писал стихи. Ну это такая отчасти гормональная история. Мне, к счастью, довольно быстро хватило ума понять, что они никуда не годятся, но тогда я их еще пописывал. И так и сделал, принес ей Брехта, она растаяла и расцвела и поставила мне пятерку, и это была полная контрабанда. Мне понравилось, и я стал дальше переводить поэзию, пошел в семинар к Линецкой и тихонечко что-то такое себе переводил. И соответственно, немного осознавал себя переводчиком-литератором, связанным с русским языком, и, в частности, поэтому никуда не хотел уезжать.

Кроме того, я люблю город Петербург. И потом, первая половина 1990-х годов была все-таки очень оптимистична, я участвовал — по мере своих слабых сил — в событиях 1991 года, баррикады строил, «Ельцин — наш президент, Собчак — наш мэр», всякое такое. Мы жили, стиснув зубы, во всем этом дерьме при советской власти, и теперь, когда что-то такое начало получаться, взять и уехать? Какого черта? Зачем? У меня тогда было очень сильное ощущение, что это все мое: мы за это боролись, мы это отстояли. Как у всех, собственно. Потом, поскольку папа работал в очень закрытой конторе, было понятно, что если я уеду, потом с родителями будет очень сложно пересекаться. Никогда нет одной причины, не верю

я в эти монистические модели, и мы не можем вывести удельный вес — это 20%, это 30%... Короче, не хотел я никуда уезжать, да и сейчас, честно сказать, не хочу.

При этом было понятно, что в этой профессии оставаться нельзя, ее просто нет, развалилось все, нет лабораторий, нет реактивов, можно учить студентов на пальцах, но это профанация и обман. Кроме того, я твердо уверен в том, что в точных и естественных науках человеку после 35 лет делать нечего. Как и в балете. Голова не работает. Если посмотреть на биографию любого Эйнштейна, то видно, что основные результаты человек выдает до 35, потом он преподает, редактирует, пишет книжки, популяризирует свою доктрину, но приращения новых смыслов там нет. Гуманитарные науки в этом смысле мягче.

И вот по сумме этих обстоятельств я начал с Илюшей Дворкиным что-то такое делать. Мы были с ним знакомы еще с 1979 года, и у меня такое подозрение, что некоторые важные еврейские слова вроде «хасидизма» Дворкин услышал от меня. Познакомились мы в важном петербургском интеллектуальном кружке, который назывался «семинар по теоретической биологии». Это философский кружок, где было сколько-то биологов и куча небиологов — людей, интересующихся историей культуры, философией, логикой. Стоял во главе всего этого дела и сейчас стоит такой замечательный человек, очень разносторонний ученый Сергей Викторович Чебанов, мой учитель, человек, который большую роль в моей жизни сыграл. Там Дворкин тоже ошивался наряду со многими другими прогрессивными мо-

лодыми людьми. И мы с ним просто приятельствовали — ни по каким не по еврейским, а по семинарским делам. В Москву вместе ездили на семинар к Щедровицкому, например. Потом, в середине 1980-х годов, Илюша национально возродился и в 1988-м впервые поехал на Украину смотреть на все эти чудеса: Меджибож, кладбище XVIII века, резные надгробия, крепостные синагоги. Страшно эффектно и романтично. Я зашел к нему чаю попить, он мне показал фотографии. А мне как раз тогда, как всякому советскому человеку, полагался очередной отпуск. Привычка к странствиям у меня была, в молодые годы я много занимался туризмом, папа с мамой меня таскали в походы с 11 лет, была традиция ехать куда-то с палаткой, на природу, в новые места, смотреть ландшафтные достопримечательности, культурные достопримечательности. И тут мне говорят: поехали, там круто, ты там никогда не был, там куча еврейских памятников. Тот же туризм, только с еврейской подкладкой, которая у меня отращения никогда не вызывала. Поехали. Оттуда я вернулся сильно перепаханным.

Вообще, эта фишка с экспедициями, придуманная Дворкиным, очень способствовала внутреннему переустройству десятков, даже сотен людей, молодых и не очень. Это была такая духовная мясорубка, откуда люди выходили какими-то другими. При этом Дворкин нас всех национально возрождал — это было и достоинством, и недостатком, которые, как всегда, перетекают друг в друга, по Ларошфуко. У меня нет ощущения, что академические задачи не самодостаточны, для меня как человека секулярного целью вполне мо-

В поисках утраченного племени

жет быть само знание. А Илюше нужно было всех возрождать — национально, религиозно, национально-культурно-религиозно, и знание здесь было не целью, а инструментом. Он потрясающе работал, таскал орды молодых людей в эти поездки, тогда это стоило три копейки. Кто-то из них потом эмигрировал, кто-то здесь стал заниматься Jewish studies, кто-то ушел в гражданские, так сказать, профессии, но сохранил в себе некую искру. Понял, что такое еврейство кроме записи в паспорте. Это был мощнейший инструмент. Можно тысячу раз рассказывать про всяких евреев, но когда тебя мордой в это ткнут — это совсем другое дело, появляется что-то физическое, телесное.

Между козой и колорадским жуком: от памятников к бабушкам

У меня лично появилась такая эмоция, и она дальше сохраняется во всем, что я делаю, — и в этнографических затеях, и в переводах с идиша: это смесь ощущения вселенской несправедливости с недоумением. Вот в Лувре висит «Мона Лиза», а в Эрмитаже — «Мадонна Бенуа». Все об этом знают, и эти «Мона Лиза» с «Мадонной Бенуа» получают соответствующие оммажи от искусствоведов, экскурсантов, туристов: люди приходят, стоят, фотографируют, издаются альбомы, про это пишут — и это хорошо. И вдруг ты приезжаешь на эту занюханную Украину и видишь, что там стоят в чистом поле, между коровой и картофельным огородом, поеденным колорадским жуком, памятники XVII–XVIII веков абсолютно эрмитажного, мирового

класса, и ни одна сволочь про это не знает. Это же нечестно, это же несправедливо! Ровно та же фигня с литературой на идише. Одна из самых больших, самых пестрых, разнообразных, сложно устроенных европейских литератур второй половины XIX — первой половины XX века: десятки имен, тысячи текстов во всех жанрах, ей-богу, не хуже ни русских, ни французов, ни англичан — никого. И никто не то что этих текстов — никто этих имен не знает, этих школ, этих направлений. У меня было такое ощущение, будто я пошел на экскурсию в Эрмитаж, отстал от группы и потерялся, а тут звонок, зрители ушли, свет выключили, двери заперли, и я хожу один по этим залам в тусклом свете белых ночей — огромные залы, тут Леонардо, там Тициан, Рембрандт, импрессионисты, футуристы, и ни одного человека, никому это все не нужно, слой пыли, паутина на раме. Как же так? Ущипните меня, я хочу проснуться. Это ужасно сильная эмоция. Хотелось закричать: ребята, вот же огромная культура, а вы ее проспали.

Никакого априорного предубеждения против идиша или местечка у нас не было. Тут такая история. До Первой мировой войны в Петербурге было чуть меньше 3 млн жителей, в Москве — чуть меньше миллиона. После революции и Гражданской войны в Петрограде осталось 700 тыс., а Москва начала пухнуть как на дрожжах, потому что столица, а быть в столице — это ресурс. Москва, как известно, не резиновая, и она окружила себя кольцами таких эмигрантских гетто — Салтыковки эти ваши, Малаховки, Марьины рощи, Черкизовы, Останкины и так далее. Питер — это город огромных генеральских пустых, полумертвых квартир,

коммуналок гигантских, где народ расселяли дисперсно, никакой компактности не было. И там никогда не знали жилищного кризиса, хоть все и жили в коммуналках. В силу этого очень простого и очень понятного механизма в Питере евреи ассимилировались на раз-два-три, а в Москве-Подмосковье, в этих эмигрантских бидонвилях, они жили компактно, сохраняя идиш, социальную структуру, род занятий. Еврейскому интеллигентному москвичу в 1950–1960-х, даже 1970-х годах местечко было дано в ощущении: он знал, что это Малаховка и там такие темные персонажи. А в Ленинграде этого не было вообще — никогда и нисколько, даже бабушки и дедушки были ассимилированные и чисто говорили по-русски, и, соответственно, возникала та самая дистанция, которая помогает поэтизировать, романтизировать. Местечко для нас было таким священным преданием о временах архетипических, а не то что там за забором в Малаховке сидят какие-то неприятные люди и на своем неприятном языке лопочут.

Сначала мы ездили с Дворкиным и открывали вот это великое романтическое прошлое, воплощенное в величественных камнях, памятниках позднего Средневековья, чья величественность особенно хорошо была видна на контрасте с окружающей колхозной действительностью. В 1990-х годах я еще участвовал в большой программе, проводимой совместно с Центром еврейского искусства Иерусалимского университета, по обследованию, выявлению, документированию мирового еврейского наследия и материальных памятников. Я с ними много чего объездил — был в Грузии, Средней Азии, Румынии, Белоруссии, Молдавии,

Литве, в разных частях Украины. И одновременно — среди многих других людей — помогал Илье что-то делать с Еврейским университетом.

Потом в Еврейском университете начался кризис, все в хлам разругались, как это обычно бывает, Илюша уехал в Иерусалим, мы все хлопнули дверью — каждый своей. Некоторое время везде был разброд и шатание. В 1999 году появился — отчасти случайно и чудом — наш центр «Петербургская иудаика», изначально задуманный как выставочный центр — мы должны были устраивать — и устраиваем, но теперь гораздо меньше, чем в первые годы, — всякие выставки. Была такая романтическая идея построить Еврейский музей в Петербурге. В результате его построили, но в Москве и даже два. У нас кишка оказалась тонка, по многим причинам. Но мы сделали больше 40 выставок: художественных, этнографических, исторических, как самостоятельных, так и в сотрудничестве с государственными музеями — самых разных. Появился еще один интерес — это собственно искусство: от народного к профессиональному. И все это время — 1990-е годы — я потихонечку учил идиш, мне это было важно, интересно и приятно, я хотел переводить с идиша, что и стал делать. Начал учить сам по самоучителю Сандлера, потом ходил на курсы к Исроэлу Некрасову в Ленинградском университете, туда довольно много народу ходило, потом ездил на летнюю программу в Оксфорд к Крутикову и Эстрайху, это было очень для меня важно.

И концу 1990-х — началу 2000-х годов стало понятно несколько вещей. Во-первых, что история с материальной культурой исчерпана: мы все

описали, задокументировали — дальше должны прийти искусствоведы и что-нибудь про это думать, сама база данных есть. Во-вторых, что этот загадочный язык я порядочно выучил. Ну, big deal, жаргон — что там учить? И я стал довольно много читать на нем, потом три года готовил толстый-толстый сборник еврейских народных сказок — то есть еще и фольклористикой увлекся. В-третьих, в ходе наших экспедиций стало понятно, что есть такие места замечательные вроде Транснистрии, Винницкой области, где много аутентичных евреев, никуда они не делись, но скоро денутся, потому как помрут. Ведь ты же не по пустыне едешь — везде встречались местные евреи, которые путались под ногами и что-то такое говорили, говорили. И мы поняли, что семантика — не в метрах жилищ, не в утвари, не в синагогальной архитектуре, — а в головах. Можно описать еще двадцать синагог — но это ничего не даст, это будет простое приращение количества, нужно что-то другое. И тогда же мы с Исроэлом Некрасовым переехали антропологическую программу Ан-ского на две с лишним тысячи вопросов. А в 2004 году совместно с «Сэфером» организовали первую так называемую «школу на колесах», приехали в город Могилев-Подольский, и я просто вынул из кармана эту программу Ан-ского, составленную 90 лет назад, в 1913 году, и стал людям по списку задавать вопросы. И тут полились неостановимым потоком рассказы о народной медицине, о суевериях, о нечистых духах, о том, что надо делать в такие праздники и сякие праздники. И меня пробило. И дальше мы стали заниматься собирательской работой, связанной с культурной и социальной антрополо-

гией, фольклористикой. То есть тут в очередной раз все поменялось.

«Я тоже человек, мне тоже жить надо»

Безусловно, вся эта работа давала какие-то разумные средства к существованию. Никто не голодал. Все эти 1990-е и 2000-е годы для наших затей было достаточное финансирование. И я, конечно, люблю получать зарплату, хотя и полагаю, что булки растут на хлебном дереве. Но при этом, если посмотреть с другой стороны, в химии я в 27 лет стал, по ихним меркам, доктором, у меня было 6–7 публикаций в хороших международных журналах на английском языке, знание двух языков и отношения — профессиональные и личные — с узкопрофильной лабораторией в Институте Вайцмана, которая занималась ровно теми проблемами, о которых я писал. Ну, езжай ты в этот самый Вайцман и живи нормальной буржуазной жизнью. Так что дело не в этом.

С моей еврейской, извините за выражение, identity у меня никогда в жизни трудностей не было. Не то чтобы я в своем еврействе когда-либо сомневался или когда-либо его стыдился. И я искренне думаю, что надо быть очень тупым человеком, чтобы двадцать лет чем-то заниматься исключительно в целях усовершенствования своей идентичности. Вот постепенно оказалось, что это стало профессией.

Что касается какой-то глобальной цели, пользы для общества, то, может быть, ее и нет вовсе: «...цель творчества самоотдача, а не шумиха, не

успех...» Чего пристали? Есть такой анекдот. Гершеле Острополер пошел к врачу. Ему говорят: «Дурак, зачем ты пошел к врачу? Наш врач — невежественный идиот». Он отвечает: «Ну что ж поделать, он тоже человек, ему жить надо, я ему заплачу». Врач выписал рецепт, он пошел в аптеку, купил лекарство. Ему говорят: «Ты что, зачем ты купил это лекарство, туда какую-нибудь дрянь намешали». Он отвечает: «Ну, аптекарь тоже человек, ему тоже жить надо». Вышел из аптеки и склянку с лекарством разбил. Ему говорят: «Что же ты купил лекарство и его разбил?» Он говорит: «Ну, я тоже человек, мне тоже жить надо». То, что я делаю, и мне, и моим коллегам, и моим студентам ужасно нравится. Я тоже человек, мне тоже жить надо — так что если есть занятие, которое приносит мне удовольствие — и не только мне, то, наверно, это не совсем плохо.

«Гитлеры приходят и уходят,
а народ еврейский, а искусство
еврейское — остается»

Социальная польза от наших штудий может быть такая.

Я тут был в Варшаве в недавно открывшемся Музее истории евреев Польши. Там есть картинки и фотографии, есть экспонаты, есть интерактивные всякие штуки. Он очень крутой, гораздо круче московского. Его делала великий человек Барбара Киршенблатт-Гимблетт, она ужасно умная. И она сказала — там была ее лекция, но это, впрочем, видно и без ее лекции, — что музей по-

строен не как нарратив, не как роман, а как драма. То есть по стенам развешаны цитаты из разных текстов — художественных произведений, писем, мемуаров, законов, документов, это прямая речь героев — акторов исторического процесса. А драматург не пишет текст от автора — он только располагает реплики. И там, например, рассказывается масса всяких гнусностей — про осквернение гостии, кровавый навет. Причем в подробностях. Например, стоит экран интерактивный, и ты на нем скроллишь такую мерзкую брошюрку, где евреи сначала похищают гостию, потом оскверняют ее, потом их сжигает на костре торжествующая церковь — и все это безо всяких комментариев типа: «Посмотрите, вот как во мраке суеверий коснели злые люди и как им было не стыдно, не подумайте дурного, евреи кровь не пили...» Ничего такого. По соседству, естественно, есть другие тексты того же времени, уже филосемитские или еврейские. Возникает вопрос: как же вы, ребята, не боитесь эту гадость выволакивать на свет божий, не осуждая ее при этом? И ведь действительно нет ощущения, что это все опасно, токсично. И я стал думать и понял: дело в ауре места, в том, что образ еврейской культуры, создаваемый в этом музее на самых разных уровнях, за счет ее богатства, разнообразия — художественного, литературного, биографического, — настолько обаятелен, что вся эта гадость к посетителю, даже неподготовленному, не липнет. Он думает: как же так, эти веселые, творческие люди столько всего наворотили, напостроили, напридумывали — и их обвиняют, что они какие-то кровососные пауки? Ну что за чепуха. И вот я думаю, что

В поисках утраченного племени

если ставить какие-то внеположные культурной или научной работе задачи, то они заключаются в том, что надо не рассказывать, какие евреи хорошие, а сделать еврейский голос полноправным голосом в хоре культуры, потому что это, ей-богу, не самый плохой голос.

Это сейчас видно в совершенно другом контексте, в связи с нынешней политической ситуацией. Вот, скажем, на Западе могут думать: Россия такая страшная гадина, что она вытворяет на Украине, как она себя агрессивно и скверно ведет. Но вы — страна Пушкина и Достоевского, и мы вас судим не по вашим сиюминутным козлам, а по вечным ценностям. И в этом смысле поцарапать вот эту полированную поверхность высокой культуры невозможно. Как нас учил товарищ Сталин, «гитлеры приходят и уходят, а народ германский — остается». И не надо бегать и кричать, что мы хорошие и право имеем, потому что это глупо и потому что если кто-то хороший, то кто-то, наверно, и плохой, а вот культурное богатство и включенность его в мировой хор решают подобные проблемы, решают непреднамеренно — все важные вещи делаются непреднамеренно.

Автодидакты, симбиоз и микширование

Я ощущаю чудовищный дефицит базового системного гуманитарного образования, ведь в этом смысле я — автодидакт, самоучка. Я не знаю самых элементарных вещей, у меня в голове полная каша. Но это не только моя проблема — это проблема поколенческая, которая заключается в том,

что почти все люди, которые складывали фундамент Jewish studies в России на рубеже XX–XXI веков, в этой области автодидакты. Они построили кафедры и университеты, из которых уже выходят профессионалы. Самомобилизованное такое поколение отцов-основателей, самообучившееся. С другой стороны, автодидакт может не знать каких-то простых вещей, дважды два четыре, но в чем-то он оказывается шире, естественнее и свободнее. В свое время я работал с замечательными израильскими искусствоведами — светлой памяти профессором Бецалелем Наркиссом и профессором Ализой Коэн-Мушлин. Мы вместе ездили в экспедиции, они у меня дома жили — потому что каждое лето читали лекции в Ленинграде. Ализа — медиевист, специалист по готическим рукописям, всю жизнь сидела в разных монастырских скрипториях в Германии, а Наркисс — византолог. И вот в свободное от своих медиевистических штудий время они придумали такую науку — еврейское искусство, стали его преподавать, сделали такую кафедру, хотя их самих никто еврейскому искусству не учил. А с нами в общих проектах работали их ученики, докторанты — профессионалы, те, кто с первого курса пошел учить еврейское искусство. И они в подметки не годились своим учителям — тем, кто не учил, но выдумал его.

В Петербурге сейчас четыре академические структуры по иудаике. В университете есть кафедра Якерсона — это библеистика и гебраистика, кафедра Тантлевского — это иудаика, Институт иудаики — маленький частный институт, где тематически все то же самое, только там студенты, как считается, послабее, а преподаватели везде хоро-

шие, иногда одни и те же, и мы — «Петербургская иудаика»: мы вообще аспирантов ведем, по истории и антропологии. И четыре журнала: библиографический и публицистический «Народ книги в мире книг», который уже больше 15 лет Алик Френкель издает при Еврейском общинном центре Санкт-Петербурга, и три научных — два издает кафедра Тантлевского, один — Институт иудаики. Абсолютное большинство тех, кто занимается иудаикой в Питере, люди секулярные. При этом в нашей синагоге тоже работают милые, хорошие, славные люди, которые достаточно широко смотрят на вещи, я к ним отношусь с искренней симпатией. Они прекрасно понимают, что академическая иудаика для них — это ресурс, потому что им же надо чем-то заполнять свои лектории, свои сайты, свои библиотеки. Они не могут все время бить паству сидуром по голове и только, потому что их паства к этому не готова, она хочет чего-то такого еврейского «вообще». А мир академической иудаики, в свою очередь, понимает, что синагога для них — тоже ресурс, потому что в нынешней ситуации существование синагоги все еврейское легитимирует в глазах начальства, которое ничего кроме слов «синагога», «религия» не понимает — ну такое у нас теперь начальство выросло. В мире любимых мною беспозвоночных это называется симбиоз.

В тот момент, когда вся эта иудаика у нас складывалась в 1990-х годах, было четкое разделение между Москвой и Петербургом, связанное и с глобальными культурными различиями вроде притяжения-отталкивания от местечкового, и с личностным фактором. Было четко понятно, что

идиш, этнография, фольклор, полевые исследования, Восточная Европа, почвенность, ашкеназы — такое вот облако тэгов — это у нас, а иврит, Израиль, еврейство как проблема, философия, политическая история, политиканство всякое — это в Москве. И какой-то след, какая-то оболочка этого разделения труда сохранилась. Если смотреть в диахронии: есть, например, в Москве Маша Каспина, которая возила своих студентов и туда и сюда — и в Буковину, и в Молдавию, а я хорошо помню, как Маша была маленькая студентка и просилась к нам в экспедиции, а мы ее не брали — говорили, что мест нет, а потом мы ее взяли, в 2004–2005 году она с нами поехала, а потом стала, слава богу, и сама своих студентов возить и все замечательно делать. Или вот переводчики с идиша, которые переводят для «Книжников», почти все питерские — и Некрасов, и Федченко, и аз грешный, но есть там и московские идишисты типа Саши Полян, хотя у нас идишистов больше. То есть происходит инфильтрация, микширование, сейчас ситуация не столь дихотомична, чем была изначально.

«Лучше умереть под красным знаменем,
чем под забором»

Многие люди в том, что складывается операционально — ты что-то делаешь, и оно так получается, — постфактум, апостериори, видят какие-то великие смыслы.

В тот момент, когда начала складываться иудаика в России, в мире она уже существовала. И эта

ситуация догоняющего развития, которая характерна для многих российских отраслей, не очень хорошая и не очень здоровая — где-то можно догнать, где-то нельзя. Я твердо уверен в том, что на поле Biblical или Rabbinical studies создать мощную, конкурентоспособную российскую школу нельзя, потому что этот газон надо стричь триста лет, а у нас этих трехсот лет нет. Можно создать класс преподавателей, которые в рамках высшей школы будут эти предметы начитывать, но не более того. Как в том анекдоте про японскую электронику: «— На сколько лет мы отстали? — Навсегда».

У нас есть свой почвенный ресурс — это все, что связано с Восточной Европой. Потому что сюда нельзя было ездить, сюда никто не совался — ни американцы, ни израильтяне — или совались очень мало. Это, во-первых, российские архивы, а во-вторых, полевые исследования, связанные с материальной и духовной культурой.

И вот складывается это поколение исследователей-автодидактов, которые в иудаике пришли уже в зрелом возрасте. В большинстве своем они языки еврейские не знают или знают плохо. Приходится изучать отложившиеся в российских архивах документы на русском языке, то есть политическую историю русских евреев или, скорее, о русских евреях — о том, что с ними делала власть, потому что власть писала по-русски. То есть все растет из бытовых причин. А потом мы приходим и говорим: нет, ребята, дело в том, что мы — наследники традиции Дубнова, мы пишем великую историю русских евреев как части русского политического организма. Ребят, да вы просто на иврите читать не умеете и на идише не умеете, зато

вы умеете шарить по российским архивам, чего ваши американские и израильские коллеги не умеют или не успели. То есть это биографический фактор, наличие одного ресурса — архивов — и отсутствие другого — языков, который задним числом концептуализируется и представляется как осознанная позиция. Это как у Маяковского в моей любимой пьесе «Баня» Моментальников говорит, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Вот наш девиз.

Могу то же самое и про себя сказать. Мы ездим в поле, сначала изучали материальные памятники, потом — фольклор и антропологию. Можно сказать: вот, наше знамя в том, что мы отвергаем высокую книжную культуру и изучаем культуру молчаливого большинства, историю ментальностей и так далее. А можно сказать: ребята, да просто жить в этих сраных гостиницах и ездить на этих сраных автобусах кроме нас никто не готов и разговаривать с информантами на одном языке — неважно, идише, русском, украинском — никто другой не умеет, потому что мы с ними вышли из одного советского болота и они нам доверяют, поят нас чаем и кормят плюшками.

Вот пару лет назад вышла книжка молодого американца Джеффри Вайдлингера «In the Shadow of the Shtetl: Small-Town Jewish Life in Soviet Ukraine», основанная на интервью с евреями на Украине. На нас активно ссылается. Хорошая книжка, но очень много плохого, потому что все равно он американец: чего-то не знает, чего-то не понимает, о чем-то просто не спрашивает, и они с ним себя ведут иначе, потому что приехал парень из-за океана — надо же шею помыть.

В поисках утраченного племени

Так что можно сказать, что современная российская иудаика совершила определенный прорыв в деле изучения культурной антропологии и истории евреев Восточной Европы. А можно сказать, что она ничего другого просто не умеет.

«Лучшее, что я могу сделать для своих студентов, это умереть»

Есть ли будущее у российской иудаики? Нет, его нету. Не то что я лично на себя смотрю так, что все у меня будет плохо и я переквалифицируюсь в управдомы. Нет. И информанты не перемрут никогда, потому что есть их внуки, и это тоже интересно — «довольно того, что след от гвоздя был виден вчера», как у Новеллы Матвеевой. Антропология не может кончиться. И рукописи с архивами останутся. Но академическая иудаика как социальная практика возможна только в одной стране — Соединенных Штатах Америки. В Америке большое еврейское население, большинство американских евреев дают своим детям высшее образование и процент американских студентов еврейского происхождения выше, чем процент евреев в американском обществе. Они получают профессии дантиста, программиста, менеджера в магистратуре, и они валяют дурака четыре года в бакалавриате, потому что американский бакалавриат — это не бей лежачего. Я сам довольно долго преподавал в американском колледже свободных искусств и изнутри знаю эту систему. При этом они обязаны прослушать сколько-то гуманитарных курсов. И американские евреи, будучи —

как сообщество — людьми неглупыми, здорово просекли фишку, они поняли, что единственный способ взять свою собственную родную молодежь за задницу — это сделать так, чтобы в каждом колледже среди тех 20, 30, 50 гуманитарных курсов, где-то между фольклором индейцев и «Анной Карениной», был курс по Jewish studies. И тогда, если тебе все равно, на что записываться, то, если ты еврей, возможно, ты запишешься на что-нибудь еврейское и что-нибудь узнаешь по ходу дела. Таких liberal arts colleges несколько тысяч, и в каждом два-три-четыре преподавателя Jewish studies. И каждый такой преподаватель, чтобы получить место, должен написать докторат. Значит, должны быть большие университеты, где бы они делали по этому делу M.A. и Ph.D., должны быть учителя тех учителей, журналы... Вырастает целая пирамида.

В Израиле, я считаю, еврейская наука устроена гораздо хуже и слабее. Потому что еврейская идентичность в Израиле отрачивается не за счет получения каких-то еврейских знаний, а за счет проживания в стране. «Не учите нас быть евреями — мы и так евреи».

В России, понятное дело, об израильской модели речи не идет, а ни такого финансового ресурса, ни такого количества еврейских студентов, как в Америке, у нас нет и никогда не будет. Какие науки гуманитарные изучают в университетах? Есть соображения практичности, есть соображения престижа. Практично изучать в университете английский или китайский. А вот от классической филологии точно никакой пользы нет. Но если ты приличная страна, а не Северная Корея, у тебя должна быть классическая филология, хоть

В поисках утраченного племени

застрелись. Зачем — никто не знает. Иудаика же не отвечает ни соображениям практичности — ну сколько нужно израилеведов, а идиш с арамейским — точно не те языки, на которых будут разговаривать дипломаты, ни соображениям престижа: еще библеистика — туда-сюда, но собственно еврейская наука, *Wissenschaft des Judentums*, которая начинается после Библии, на фиг не сдалась. Это не значит, что отдельные люди не смогут работать, участвовать в международном распределении труда, в международных командах, получать гранты, — нет, конечно, смогут, и такая маленькая группа людей, готовая делиться своими результатами с международным ученым сообществом, будет. Но судьба иудаики в России как сообщества печальна, у нее нет социальных перспектив. Мы выпускаем студентов в никуда. Поскольку нет расширенного воспроизводства, в сущности, лучшее, что я могу сделать для своих студентов, это умереть. Но я не готов. Потрепыхаюсь еще немного.